
ОГОНЁК
№ 17 АПРЕЛЬ 1954
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Трелевка леса (Карело-Финская ССР).
Фото Я. Рюмкина.

На первой странице обложки: Воскресные пироги.
Фотоэтюд А. Гаранина.

ОГОНЁК

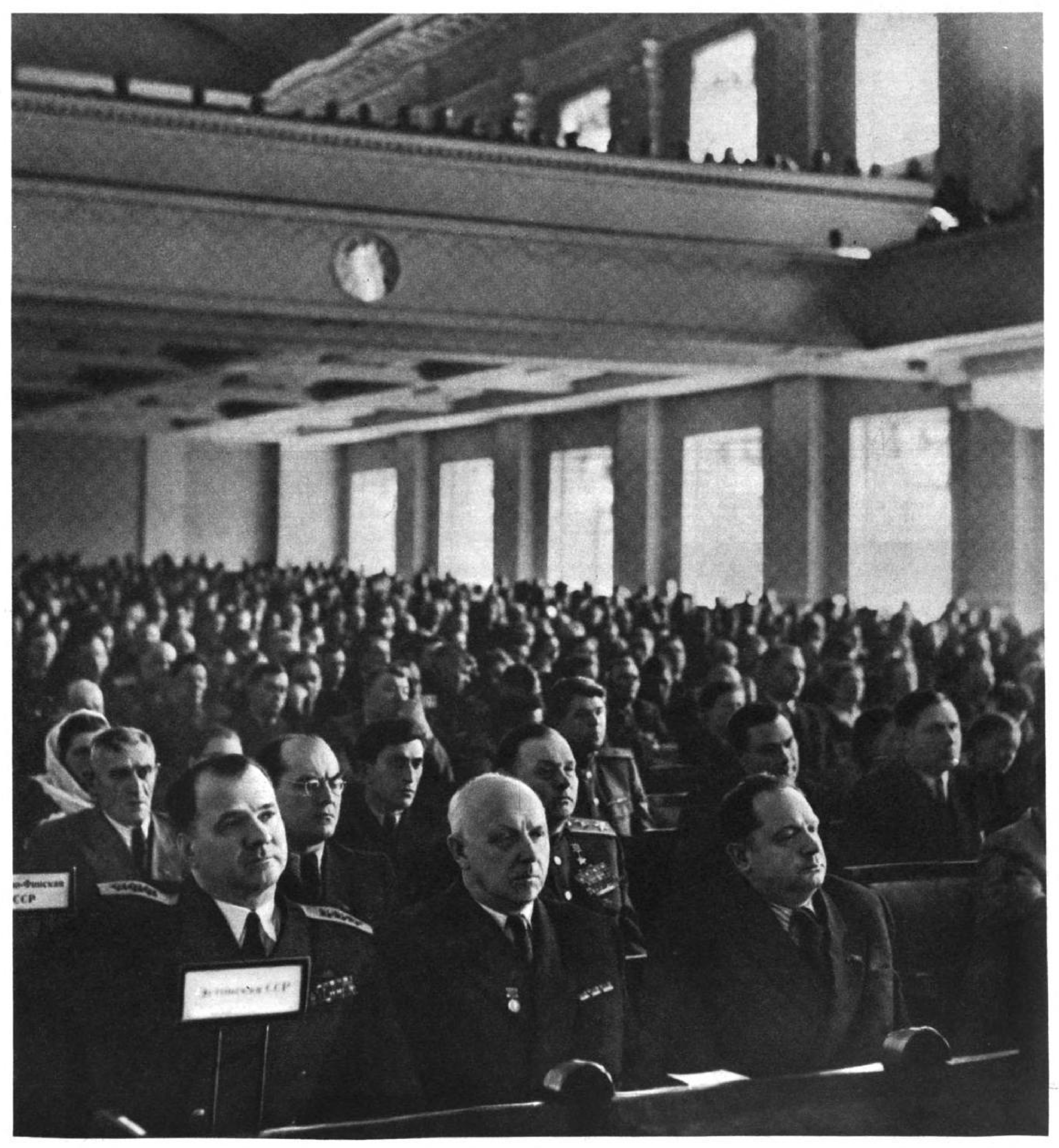
№ 17 (1402) 25 АПРЕЛЯ 1954

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

32-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

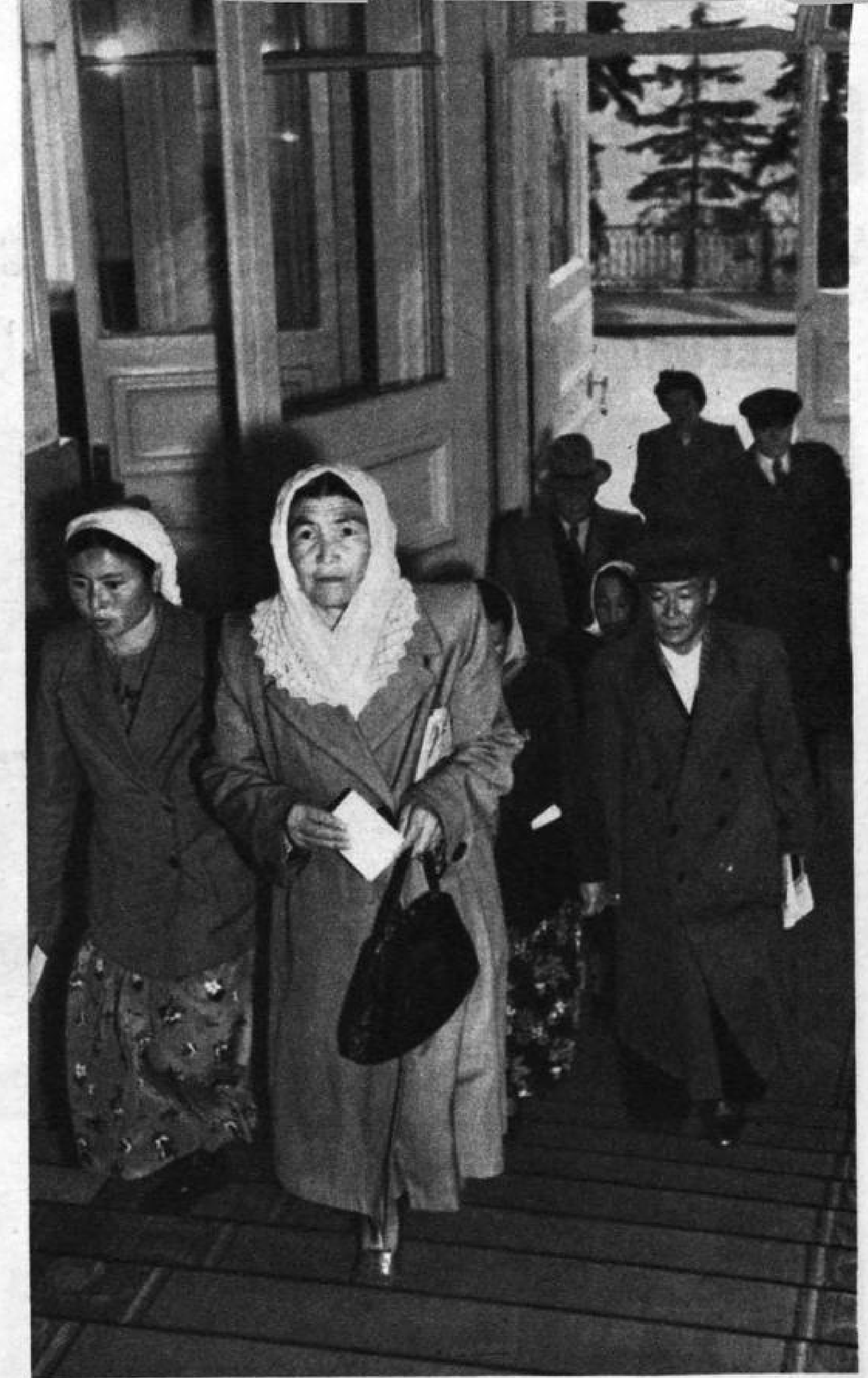


20 апреля в Москве, в Большом Кремлевском Дворце, открылась первая сессия Верховного Совета Союза ССР четвертого созыва. В столицу нашей Родины приехали народные избранники со всех концов страны. На снимке: в зале заседаний Верховного Совета СССР 21 апреля.
Фото И. Тункеля.

Первая сессия Верховного Совета Союза ССР четвертого созыва



Регистрация депутатов.



Депутаты направляются на заседание.

У входа в Большой Кремлевский Дворец.





В перерыве между заседаниями. Слева направо: авиаконструктор А. И. Микоян, академик А. Е. Арбузов, геолог М. В. Мальцев.

Фото А. Новикова и И. Тункеля.

У Андреа Андреен

На следующий день после получения международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» шведская общественная деятельница Андреа Андреен посетила Дворец науки на Ленинских горах.

В лифте, который поднимал гостью на верхний этаж, произошел такой эпизод. Студент, читавший газету, заметил, что портрет его соседки напечатан на первой полосе. Тогда он вслух прочел строки из ее речи, произнесенной в Кремле:

«Все здесь имеет гигантские размеры. Советский Союз — громадная страна; Москва — огромный город; этот зал большой; ваше дружелюбие безгранично; честь, оказанная мне, — велика, а сама я очень маленькая!» — и сказал, обращаясь к Андреа Андреей:

— Поздравляю вас от всего сердца! Вот такой маленькой женщиной, но большим борцом за мир и любит вас советская молодежь!

Эти слова глубоко взволновали Андреа Андреен, и она рассказала нам об этой встрече. Чувствовалось, что любовь и уважение советских людей послужат ей новым источником силы, вдохновят ее на дальнейшую борьбу за мир.

Когда в Швецию пришла весть о присуждении доктору медицины Андреа Андреен международной Сталинской премии, даже шведская буржуазная печать поместила сообщение об этом. Госпожу Андреен обрадовали приветственные телеграммы, полученные от профессора Иверсена из Финляндии, от норвежского пастора Фарбекка, от датских друзей и многочисленных шведских единомышленников.

Андреа Андреен вспоминает свою четвертьвековую деятельность в защиту мира между народами. В 1935 году она вместе со своим умершим теперь другом Элин Вегнер повезла в Лигу наций петицию, подписанную двадцатью тысячами шведских женщин. Петиция эта называлась: «Безоружное восстание женщин против войны».

После второй мировой войны еще более усилилась ее деятельность в защиту мира, за счастье всех людей.

Третий раз гостит Андреа Андреен в Москве. Она была здесь в 1950 году в составе делегации шведских женщин, а затем — в 1952 году — проездом по пути в Китай и Корею. На торжество вручения ей международной Сталинской премии она приехала вместе со своей дочерью Хиллеви Сведверг, стокгольмским архитектором.

— А теперь полюбуйтесь на моих внуков, — говорит нам Андреа Андреен и показывает фотографию, на которой засняты четыре мальчика-крепыша. — Это дети Хиллеви, но у меня есть еще два внука и одна внучка — дети моего сына, тоже архитектора, работающего в области создания новой мебели. Как видите, я богатая бабушка: имею семь внуков! — она смеется, и глаза ее при этом блестят совсем еще молодо.

Через мгновение, однако, улыбка сходит с ее лица, и глаза становятся снова задумчивыми и серьезными.

— Как видите, дети мои занимаются мирными делами. Меня радует, что дочь выстроила в Стокгольме два дома, что в них есть помещения для детских яслей. Сын мой создает красивую мебель для удобства людей. Я хочу, чтобы внуки мои не знали слова «война», чтобы в жизни человечества наступила новая эпоха — мира и счастья.

Я. ЯКОВЛЕВ



Андреа Андреен. Фото А. Устинова.



На вечере в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии. Фото Н. Николаева.

Люди отваги и мужества

Герой Советского Союза... Этой высшей степенью отличия отмечены бесстрашные сыны и дочери Родины. В апреле 1934 года было установлено это почетное звание. Только за годы Отечественной войны свыше 10 тысяч человек удостоены звания Героя, более 100 человек дважды заслужили эту честь, трое являются трижды Героями Советского Союза.

Несколько поколений Героев собралось недавно в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии имени М. В. Фрунзе. Страница за страницей открывалась славная история двух последних десятилетий. На трибуне — Н. П. Каманин. И в памяти возникает незабываемая эпопея, когда семеро летчиков спасали экипаж «Челюскина», затертый во льдах суровой Арктики. Они первыми получили высокую награду — звание Героя Советского Союза.

Участники вечера напомнили о ярких эпизодах Отечественной войны. Форсирование Днепра... Удары советских подводников по вражеским кораблям... Бесстрашные рейсы женщин-летчиц... Самоотверженный труд в тылу... Об этом рассказывали дважды Герой Советского Союза А. П. Шилин, Герои Советского Союза капитан И. С. Елкин, контр-адмирал И. А. Колышкин, В. С. Гризодубова, Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант Н. В. Борисов.

То, о чем говорилось с трибуны, дополняли и иллюстрировали листовки, фотографии и документы, посвященные боевым делам советских воинов.

Высокой ответственностью были проникнуты слова, произнесенные на вечере офицером Шилиным:

— Советские люди могут трудиться спокойно. Оружие, которое вручила Родина своим защитникам, находится в надежных руках.

Вечера дружбы

15 апреля в Большом зале Государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся вечер, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией. В нем приняли участие крупнейшие русские и украинские писатели. В заключение вечера продемонстрировали свое замечательное мастерство украинские артисты, тепло принятые зрителями.

Горячо встречены были украинские писатели и деятели искусств также на вечерах в МГУ, во Дворце культуры автозавода имени Сталина, в Центральном доме культуры железнодорожников, в Доме культуры Красногорского механического завода и в других аудиториях.

На снимках: в Большом зале Государственной консерватории имени П. И. Чайковского; председатель правления Союза советских писателей Украины М. Бажан выступает с докладом о современной украинской литературе.

Фото Е. Тиханова.







Под лежач камень...

В. ТЕНДРЯКОВ

Рисунки В. Высоцкого.

В городке Малое Плесо на центральных улицах исправные дощатые тротуары, во дворе райкома на деревьях галчиные гнезда, две площади, Базарная и Школьная, речная пристань, работающая только весной во время полой воды, много контор и учреждений: райфо, райздрав, райторг, райтоп...

В райфо, как и положено, следят за финансовыми операциями, в райздраве заботятся о больницах и амбулаториях, в райторге — о магазинах и чайных, в райтопе — о заготовке дров для населения. У всех свое дело и свои заботы. Но три раза в году эти учреждения заметно пустеют. Наиболее видные работники из них выезжают на весенний сев, на сеноуборку и уборку хлебов в колхозы по поручению райкома партии и райисполкома. Прежде их называли уполномоченными. Но с некоторых пор слово «уполномоченный» стало слишком резать слух районным руководителям, поэтому теперь зовут более мягко — «представители».

Два таких представителя райкома торопливо шагали от города через луга, выбирая более короткие тропинки. Из густой травы, от корней тянуло сырой прелью. Плясали бабочки в синем воздухе.

Задевая голенищами сапог свесившиеся к тропе головки ромашек, инструктор райкома Иван Ануфриевич Тулупов наставлял своего спутника:

— Обрати внимание на технику. Больной вопрос! Потом — дисциплина...

Его спутник, молодой агроном Сергей Княжнин, слушал и молчал. По размашистому шагу, счастливому молодому лицу и по тому, как нетерпеливо и жадно вздрагивали его ноздри, когда легкий ветерок приносил смутные запахи вянущей травы (где-то в стороне начинали косить), было видно, что ему нравится шагать налегке в это солнечное утро. «На технику обрати внимание... Дисциплина...— думал он.— Уж слишком простые вещи, известные, как дважды два...»

— Силосные ямы проверь... Посмотри, силосорезки в исправности ли...

Ипполита Ипполитовича, учителя гимназии из рассказа Чехова, напоминал Сергею сейчас Тулупов. Тот тоже говорил известные всем истины: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»

Сергей пять лет назад ушел в институт из села Панкова. Оно недалеко отсюда, всего день езды по ухабистым дорогам.

Из института получил направление в свою область, в город Малое Плесо, на государственный сортоиспытательный участок.

Когда-то под городом была маленькая деревня. Она так и называлась — Подгородье. Теперь Подгородье хоть и срослось с городом, но здесь попрежнему колхоз «Путь Ильича». На землях этого колхоза и расположился госсортучасток.

Тихая работа Сергею не нравилась. У него в кармане партбилет и диплом агронома с государственным гербом на обложке. Многие ребята из института об аспирантуре мечтали: опытное поле, микроскопы, кабинетная тишина, толстые фолианты да исписанные листы диссертаций... Жизнь велика, к преклонным годам и этим можно заняться. А пока молод, получай практику. Не опытное поле, а колхозы!.. Там бы в землю по локоть руки запустить!

В райкоме партии словно угадали его желание. Сам товарищ Горновой разговаривал с ним.

— Вошел в колею, пригляделся к своей работе? — спросил он.

— В основном да,— ответил Сергей.

— Как члена партии, как специалиста мы решили послать тебя на время сеноуборки в колхоз «Ударник». Знаю, будешь возражать: почему-де не используем в «Пути Ильича»... Но пойми: этот колхоз под боком и у райкома и у райисполкома. Там без тебя хватает, кому присмотреть. А «Ударник» — глухой колхоз, двадцать два километра от районного центра, в лесах спрятался. Вот где нужен глаз партийца и агронома!

Не в пример другим, Сергей не отговаривался крайней занятостью, перегрузкой срочной работой.

Теперь он шагал вместе с инструктором райкома Тулуповым.

На вертлявом, выдолбленном из толстого бревна дубасе они переехали через реку и там распрощались.

Повесив на руку порыжевший пиджачок, отирая фуражкой пот с лысеющей, покрытой младенческим пушком головы, Тулупов двинулся к видневшимся вдали крышам деревни Долгово, в колхоз «Новое время», счастливо разместившийся среди обширных заливных лугов.

Сергею надо было пройти еще километров восемь в сторону от реки, вглубь лесов.

Тенистые мягкие лесные дорожки, пахнущие грибами, хвоей и малиной, тишина кругом, влажная прохлада — не утомительно шагать, легко на душе, отдыхает тело, приходят мысли ясные и легкие. Все на свете кажется простым, любые трудности по плечу. Хотелось вытянуть колхоз из убожества! Доказать людям не на словах, на практике: нет плохой земли, есть плохие хозяева!

Один в березовом лесу, заполненном солнцем, Сергей чувствовал в себе неясную пока еще силу, и от этого радость душила его.

Чужой для леса запах теплого меда заполнил воздух. Впереди показался просвет, деревья раздвинулись, Сергей вышел на поле клевера. Оно тяжелым бархатным розовым ковром лежало по обе стороны дороги. За ним, подняв над низенькими крышами колодезные журавли,— деревенька.

С краю у деревни подле амбара стоял трактор. По всему видно, что стоит он тут давно, чуть ли не с самой весны. Лопухи и крапива подпирали под радиатор, колеса под гусеницами опутала повилика. И Сергею вспомнился Тулупов: «На технику обрати внимание...» Усмехнулся снисходительно: «Обратим, не упустим...»

Председателя колхоза Сергей не застал. Тот ушел на покосы. В правлении, обычной с полатями и могучей печью избе, куда лишь был занесен забрызганный чернилами конторский шкаф, душно; скучно ноют мухи на оконных стеклах. После березняка с солнечными зайчиками по белым стволам сидеть и ждать председателя было тяжко. Самому бы выбраться на покосы, да, не зная места, заблудишься.

— Может, и к ночи не придет председатель? — спрашивал Сергей.

— Может, и к ночи,— отвечал бухгалтер, неразговорчивый человек, несмотря на жаркий день, сидевший за столом в картузе с козырьком, надвинутым на глаза.

Но выручил случай. Под окна конторы, громыхая, подкатила телега.

— Вот с ним можно ехать на покосы. Он туда продукты везет,— указал на окно бухгалтер и закричал: — Тимофей!.. Обожди, товарища захватишь!

Выбракованный по старости жеребец, но сохранивший еще остатки былой стати, медленно тянул телегу через поля. У Тимофея, нового знакомого Сергея, было мягкое бабье лицо, кожа белая, не загорающая на солнце, нос лупится, по лицу и рукам частые веснушки. Прежде чем начать разговор, он долго через плечо приглядывался к Сергею.

— По какому вопросу к нам?

— Вопрос известный. Побаиваются, как бы с сенокосом не отстали.

— Так, так, побаиваются... Н-но, дедко! Шевелись! — прикрикнул на жеребца Тимофей.— Стар, не тянет... Что ж, может, и поможете. Работников мало — вот беда... Сравнить с прошлым, наполовину нету людей-то. А лугов столько же осталось. Раньше-то следили за лугами. Каждый хозяин за свой клочок стоял: кустик поднимется — вырубит, кочка торчит — срежет. А нынче руки не доходят. Заросли луга, смотреть больно. Планы-то спускают старые, по ним вроде бы ничего не зарастало.

Телега начала тряско подскакивать на сосновых корневищах. Сергей и Тимофей сошли на землю.

— Дороги-то у нас — едешь и язык бережешь, а то ненароком откусить можно.

Некоторое время шли молча, держась руками за грядку телеги. Сергей задумался.

«Сила уходит в город... машинами она должна заменяться, машинами! Истина перепетая, в учебники вставленная, на газетных листах примелькавшаяся, а в жизни не могут еще уходящих людей заменить машины. Нет равновесия!..»

Лесная речка Пашутка, с бочагами, где со ржавым отливом вода стоит неподвижно, с перекатами на золотистых камешниках, вся переплетена кустами ивняка и смородины. По берегам эти кусты стоят плотной стеной, не в каждом-то месте продерешься. От стены на лужок отбежали отдельные кустики. Лужок узок, так как с другой стороны напирает угрюмый ельник. В иных местах кусты вбегают в лес и тихонько шелестят среди высоких сучковатых стволов. Здесь луг обрывается. Через несколько шагов снова узкая полоска, поросшая крепкой лесной травой, снова кусты закрывают ее — и так все время. Это и есть сенокосные угодья колхоза «Ударник». Даже простая пароконная косилка бесполезна здесь: через каждые два шага ее ножи будут натыкаться на кусты. Что и говорить о сложной, тракторной!

Председатель колхоза Петр Данилович, в чистенькой белой косоворотке, невысокий, тихий, даже несколько робкий человек, сперва держался с Сергеем с вежливой натянутостью, но мало-помалу разговорился, стал жаловаться.

Они улеглись в тень, под куст, на прохладную траву. Из-за куста тянуло крепким смородиновым запахом.

— Ежели всю землю считать — и под лугами, и под лесами, и под пахотой которая,— велик наш колхоз! Семь тысяч га! Легко сказать. А коров всего сто голов. На каждую по семьдесят га приходится, и не можем прокормить. Гектары-то все пустые — лес-чащоба да болота, мох сплошной.— Голос у Петра Даниловича негромкий, устало-спокойный, говорит без вздохов, без обиды, чувствовалось: он сам привык к таким жалобам.— В прошлый год кормов не хватило, пришлось десяток зарушить на мясопоставку... Какие-то колхозы вперед идут, богатеют, а нам что ни год, то труднее.

— С косами не разбогатеешь. Машины-то стоят,— вставил Сергей.

— А как им не стоять. Средь наших пней не развернешься. Не пожалуешься, не обходят нас, каждый год шлют и комбайны самоходные и косилки. Да что толку, диковаты наши места. Нам бы допрежде комбайнов лучше корчеватели и кусторезы прислали. Пришло в район четыре трактора «С-80» да два канавокопателя. Стоят.

— Это почему?

— У нас четыре МТС. Разделили по ним тракторы, каждый по одному «С-80», чтоб не обидно было. Один трактор, пусть он и в восемьдесят сил, не потащит канавокопатель. Такой плужок — лемех чуть не с человека ростом — только пара тракторов тянет. Директора МТС друг с другом переругались, один у одного выпрашивает: дай мне, буду начинать осушку болот, другой — нет, мне, чем я хуже? Все хотят в этом году начинать, на будущий-то, может, пришлют сразу не по одному канавокопателю с тракторами. Спорят, а канавокопатели ржавеют. Хоть бы догадались, жребий кинули... Мы вот на таких клочках с косами топчемся, а за Роговским починком болото гектаров на сто лежит, что стол ровное, какие бы луга там были!..

Петр Данилович, возможно, долго бы лежал так, тихим, как шуршание сухого сена на ветерке, голосом жаловался. Но Сергею и этого было достаточно. Тяжело стало на душе. Диплом в кармане, пять лет института. Проборонование дерновины, подсев эспарцетом и клевером — книжные, неоспоримые истины! До них ли здесь, когда сложные тракторные косилки стоят под навесами, а коса-матушка — попрежнему госпожа на лесных лугах!.. Чем помочь? Как?!

Чтобы привести в порядок нахлынувшие мысли, успокоить себя, Сергей скинул пиджак, взял у одного паренька косу и с ожесточенным наслаждением принялся валить траву. Трава была твердая, коса быстро тупилась: плохая лесная трава! Сергей знает: в ней много клетчатки, но мало протеинов... Знает! Но что в том толку?.. К плечам, к спине прилипла рубаха...

Петру Даниловичу неудобно было оставаться в стороне, когда представитель райкома работает. Он тоже взял косу. Смолкли шутки, смех, пересуды среди женщин, всех заразил Сергей своим угрюмым ожесточением. Кончали один кусок луга, торопливо переходили на другой, молчаливо и жадно набрасывались на траву...

Под тяжелой лохматой еловой лапой, как дорогая новогодняя игрушка, висела крупная переливчатая голубая звезда. С разбитым телом, успокоившийся, лежал в копне сена Сергей. Сон не шел. Над не остывшим после работы лицом пели комары.

В ночной тишине мысли шли спокойным порядком, не путаясь, не мешая одна другой...

«Ни осенью, ни зимой ни райком партии, ни райисполком не послали сюда, в «Ударник», специалиста. Не заставили: готовь загодя колхоз к сеноуборке, приглядись, где слабые места, продумай, как их исправить. Нет, поднялась трава, пришла пора браться за косы, тогда только схватились: поезжай, покрикивай да подсказывай!.. И еще победы ждут. От кустов очистить, пни выкорчевать, болота осушить — вот о чем надо думать! Будущему году нужна помощь».

Сергей разогнал толкущихся над лицом комаров, поднялся, пошел к соседней копне, из которой торчали два заскорузлых сапога, потряс один из них.

— Данилыч, проснись-ка!..

Сено зашевелилось, поднялась голова Петра Даниловича, повязанная, чтоб не лезло к шее сено, женским платком.

— Случилось что? — спросил председатель хрипловатым спросонья голосом.

Сергей опустился рядом.

— Давно случилось. Пора бы уж спохватиться. Скажи: много так вот простаивает тракторов?

Петр Данилович сперва недоуменно помаргивал, потом вдруг не к месту широко улыбнулся.

— Ты чего? — удивился Сергей.

— Да уж прости, вспомнил я... Наш брат, председатель, первым делом гостей из района спрашивает: «Куда пойдем: в контору или на поля?» Скажут: «Пошли в контору, побеседуем»,— значит, ничего, спокойный человек. Понаставляет: так, мол, и так. Ты послушаешь — и все ладно. А коль подвернется: «Нет, давай на поля, не из окошка любоваться приехал»,— тут уж берегись. Выведет, начнет пушить: и то плохо, и это нехорошо!.. Случается, наскочишь на горяченького... Вот тебя за такого принял. В лесные луга пришел, ну, думаю, будет грому. Ан нет, пригляделся — не из тех...

— Ладно, давай о деле. О тракторах скажи.

— О тракторах-то... Да хватает их, неисправные и исправные — всякие стоят. Иногда жаль лошадей мучить, да прикинешь: лес, буераки, куда уж машину тащить, а и потащишь — сломается... Ненадежное дело — в наших местах машина.

— А почему бы те тракторы, что лопухами зарастают, на расчистку хотя бы таких лугов не пустить?.. Кусторезы можно и самим сделать, не такой уж и сложный механизм.

— А дороги-то... Сам видел, не по воздуху сюда прилетел. Прежде чем трактор к делу приставить, его надо на место довести. По нашим дорогам без аварий не проведешь. Ровнять надо дороги, слежками устилать, кой-где расширять, может, и новые просеки рубить. Кто ж осмелится на такое?



— Под лежач камень вода не течет.

С платком, по-старушечьи повязанным на голове, широкоскулое, грубоватое лицо Петра Даниловича было сосредоточенно-грустным.

Стояли дымчатые сумерки белой ночи. Только самые крупные звезды бледно горели на небе. Сквозь речные кусты на сырую скошенную луговину лениво сочился серый туман. Они сидели в разваленной копне, среди размякшего от ночной сырости сена и говорили о том, как в глухие углы леса бросить силу машин. Сергей горячо убеждал: «Надо требовать! Надо добиваться! Всех сверху донизу расшевелить». Петр Данилович осторожно, с холодком в голосе поддакивал. В глубине же души он не верил: «Оно так, под лежач камень вода не течет. Но дело-то великое, а большие дела с больших людей начинаются. А кто они? Один — председатель из самых что ни на есть неприметных, другой — агроном. Мало ли таких в районе!»

Он обгорел на солнце, щеки заросли черной щетиной, ладони стали твердыми и шершавыми: приходилось часто браться за косу. Да и чем он еще мог помочь? Покрикивать, подгонять?.. Нет, уж лучше самому показать, как надо работать. Правда, невелика помощь, не поднимешь этим колхоз.

Сергей решил встретиться с секретарем райкома партии Дмитрием Максимовичем Горновым.

Тимофей, ездивший в сельпо за товаром, сообщил, что Горновой у соседей, в колхозе «Факел Октября», часа через два поедет обратно, можно перехватить его на дороге.

Был вечер. Вода в маленьком полузатянутом хвостецом озерке казалась маслянисто-тяжелой. Запыленные цветы при дороге клонились к земле. Воздух неподвижен. Небо чисто, не видно, чтоб где-нибудь на дальний лес навалился край темной тучи, но чувствовалось: быть грозе. В колхозе «Ударник» почти везде, где только можно, скосили, а план выполнили только наполовину. Когда-то давно были распределены покосные участки, занесены на землемерческие чертежи. С тех пор много воды утекло, много позарастало непролазным кустарником, а план как спускался из расчета на выделенные угодья, так и теперь спускается.

На дорогу вырвалась легковая машина. Таща за собой тревожно розовый, как дым пожарища, хвост пыли, она стала приближаться. Сергей остановился.

— Чего надо? — грубовато спросил высунувшийся шофер, но уже за его спиной раздался бодрый, с хрипотцой басок Горнового:

— Это, видать, ко мне.

Из-за блеснувшей на закате лакированной дверки выскочил на дорогу секретарь райкома. Выгоревшая, надвинутая на брови кепка, из-под козырька маленькие твердые глаза, крепкий подбородок, ладонь широкая, пожатье мужское, сильное. Горновой когда-то был ветеринарным врачом на конезаводе, скакал верхом по степным выпасам, делал прививки от сапа, нужно — умел усмирить необъезженного жеребца. До сих пор в его обличье осталось что-то грубоватое, простецкое, какая-то степная неуклюжесть.

— Здравствуй! Что-нибудь сообщить хочешь? — спросил он.

— Поговорить хочу, — ответил Сергей.

Через минуту машина неслась дальше, а Сергей рассказывал секретарю райкома про убогие лесные покосы колхоза «Ударник», про кусты, с которыми не хватает сил бороться, про стоящие без дела тракторы и косилки.

Горновой слушал и хмурился, наконец перебил:

— Кому ты рассказываешь? Ведь я, милый, лучше тебя все это знаю.

— Дмитрий Максимович! Пора бить тревогу! Все знают и молчат! Да разве нельзя в районе своими силами кусторезы сделать? Нельзя разве эти зарастающие крапивой тракторы заставить корчевать пни? Конечно, лучше бы с заводов мелиоративные машины получить. А может быть, они в других местах нужнее. Сложа руки сидеть, что ли?

Горновой крякнул: «Эх! Горячка!» — пошевелился на сиденье.

— Верно! — произнес он. — Но верно-то, брат, теоретически. Мы все в молодости куда как ретивы бываем... Ты думаешь, меня все это за сердце не брало? Гляди: поседел от этих вопросов! — Горновой сдернул фуражку. Над широким, в крупных морщинах лбом туго вились мелкие колечки с сединой пополам волос. — Видишь? Так вот слушай, как оно обычно в жизни получается. Кусторезы, бульдозеры разные из сосны не вырубишь. Надо железо, и не простое железо, а сортовое. У нас же во всем районе конца стального троса днем с огнем не отыщешь. Пень вывернуть,— кажется, не мудреное дело, но ведь на этот пень пеньковую петлю не накинешь: лопнет под трактором. Требовать машины... Гм!.. Заводы-то нажимают на комбайны... Слышал: два канавокопателя на весь район! Два! По нашим болотам их сотни нужно!

— Ну, канавокопатели — специальные машины... Но стальные тросы!.. Чтоб из-за них да в колхозе жизнь застывала?! Косами по старинке махают, косилки ржавеют без дела, тракторы лопухами зарастают! Тросы! Ведь мелочь!

— Мелочь?.. Да! Вся и беда-то, что мелочь. Крупного-то легче добиться. Колышком дубовую дверь не высадишь, а бревном можно. Заикнись в обкоме партии о стальном тросе, ответят: «Не по адресу стучишься». А новые комбайны подбросить — помогут.

Сергей молчал. Но в душе он не соглашался с Горновым. Стальные тросы и тракторы, зарастающие крапивой, — какое-то недоразумение! Разве нельзя его выяснить?

Дождь обрушился на них уже в городе. В открытые окна кабинки ударила облегчающая свежесть.

Прощаясь, Горновой сказал:

— Завтра в шесть — бюро. Приходи, поговорим на людях.

Обсуждалось отставание в сеноуборке колхоза «Факел Октября».

Председатель «Факела», высокий человек с косицами волос на крепкой коричневой шее, плачущим голосом оправдывался:

— Нету народу-то...

При этом он беспомощно разводил зажатой в кулак кепкой.

— У всех народу не густо, да управляются, — возражал Горновой, прочно сидевший за своим письменным столом.

Сергей слушал и думал о колхозе «Ударник». Сейчас он идет в ногу с другими, но с завтрашнего дня, в крайнем случае с послезавтрашнего, остановится, и уж ничто не сможет его продвинуть вперед. Все скошено, а план не будет выполнен, на следующем бюро место председателя из «Факела» займет Петр Данилович, не забудут и его, Сергея.

Заседание подходило к концу. Председатель «Факела» уже перестал возражать, сидел, опустив голову. Кой-кто пересел со своих мест на подоконники покурить в открытое окно. Сам Горновой не курил и не выносил табачного запаха.

— Дмитрий Максимович, разрешите мне слово, — попросил Сергей.

Горновой понимающе взглянул на него и кивнул головой: «Прошу».

— То, что мы обсуждаем, даем нагоняй,— это не спасает такие колхозы, как «Факел Октября»,— начал Сергей.— Я здесь выступаю как коммунист среди коммунистов и, уж пусть простят, не собираюсь выбирать выражения. Райком и райисполком стараются спасти положение разговорами на заседаниях да еще рассылкой по колхозам уполномоченных, погоняльщиков!.. Спасение не в этом. Наше спасение в машинах!..

Сидевшие на подоконниках побросали окурки на двор, поспешно вернулись на свои места. Председатель «Факела» поднял голову, лицо его выражало откровенное удивление и скрытый страх: «Ой, запорешься, парень. Заклюют...» Один Горновой оставался внешне спокоен. Он слушал, поглаживая широкий лоб.

— Машины шлют, а развернуться им негде. Колхозы укрупнились, а поля как были, так и остались мелкими — клочки среди лесов!

Директор близлежащей к городу МТС, крупноголовый, стриженный ежиком, прозванный «голосистым» за свой крикливый, неспокойный характер, не выдержал, шлепнул по коленке ладонью.

— Так, парень, крой! Давно пора заговорить. От опасности прячемся, как страусы: голову под крыло, хвост наружу!

Горновой неодобрительно посмотрел на него, покачал осуждающе головой: «Не мешай выступать!»

— Людей мало, машины используются с пятого на десятое. На что еще надеемся? Пора спохватиться!

Сергей, взволнованный, сел, стал шарить по карманам носовой платок, чтоб вытереть с лица пот.

— Мне слово!..— директор МТС, не дожидаясь разрешения, вскочил. — Шепотком мы часто говорим об этом, а пора кричать! Пора! Отпустите мне добавочный лимит горючего, дайте цепей, канатов, завтра же начну заключать новые договоры с колхозами на раскорчевку.

— Дайте? — перебил его Горновой. — А у кого ты просишь? У меня? Рад бы всей душой, да не имею!

— Добыть надо! — круто повернулся директор.

Разгорелся спор, никто уже не следил за порядком заседания. Заговорил главный агроном райсельхозотдела Мокрецов. Из угла, покрывая всех густым баритоном, подал голос директор самого крупного в городе предприятия, сушильного завода, Певунов. Ему стал возражать председатель райисполкома Омшарский. Горновой не сдерживал спорящих, не призывал к порядку, сам был внешне спокоен: бросал реплики, но больше слушал.

Забытый всеми председатель «Факела» искоса с уважением разглядывал Сергея.

Расходились. Как обычно, добрая половина собравшихся сгрудилась у стола секретаря райкома, решая на ходу свои, не относящиеся к заседанию дела. Сергей уж хотел незаметно выйти, но Горновой через головы обступивших бросил:

— Обожди.

К Сергею подошел инструктор Тулупов и начал повторять только что сказанное другими на заседании:

— Канатов стальных у нас нет. Мелиоративные машины — вопрос больной, но заводы нам не подведомственны...

Горновой, распустив людей, сел рядом с Сергеем, положил ему на колено свою крепкую ладонь, заглянул в лицо. Тулупов почтительно посторонился.

— Разбередил ты мне, Сергей, сердце,— произнес Горновой, и в голосе его услышал Сергей непривычную доброту.— Я-то сейчас возражал, а думал другое: мы свыклись, приучились не замечать, а ты пришел, глянул свежим глазом и поднял то, что на поверхности лежало, показал: «Вот где сермяжная правда».

— И все же возражали? — произнес Сергей.— Поспорили мы, пошумели, а ничего не решили...

— Для того и возражал, что решать пока рано. Решим, в бумаги запишем, а потом признавайся: не выполнили решение... Завтра меня вызывают в обком, буду там требовать и настаивать. Выйдет дело — приедем, соберем людей и уж тогда решение вынесем, наступать начнем. Разбередил ты меня...

Провожал к дому Сергея Тулупов, он с самым невозмутимым видом, обычным тоном наставника говорил сейчас уже совершенно другое:

— Очень важный вопрос затронул. Теперь предстоит задача — вырвать хотя бы стальные тросы. Тогда можно будет развернуть корчевку и распашку новых площадей...

Сергей не слушал его и улыбался своим мыслям: расшевелил Горнового, а это уже много, начало есть, лежач камень шевельнулся.

Сергей считал дни и часы, когда должен вернуться из области Дмитрий Максимович.

Крепла надежда: задерживается,— значит, время впустую не проводит, добьется, что нужно.

Росла радость, несколько тщеславная, ревностно скрываемая от всех: землю расчистим, машины на простор выпустим — великое дело! А кто первый слово бросил? Я!

Вместе с радостью росла и благодарность к секретарю райкома: не всякого так просто



разбередить можно, не всякий бы так чутко прислушался, не чиновничья душа, нет!

Сергей был на участке, около грядок с элитной рожью, когда узнал, что вернулся Горновой.

Сбегав домой, переодевшись в праздничный костюм, купленный еще на пятом курсе института, он направился в райком.

Сейчас он войдет, Дмитрий Максимович поднимет свою тяжелую, с крупным лбом голову, взглянет открыто, протянет руку, крепко пожмет. Даже просто встретиться, снова увидеть его приятно.

Но Горновой не поднял головы, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг, кивнул: «Садись».

С минуту стояла тишина. Сергей разглядывал седеющие кудри на склоненной голове секретаря райкома. Наконец не выдержал молчания, произнес:

— Я пришел узнать, Дмитрий Максимович.

И Горновой словно ждал этого. Уронив широкую ладонь на бумаги, он поднял взгляд, чужой, строгий.

— Ты за это время в «Ударнике» бывал? — спросил он.

— Нет, Дмитрий Максимович. Мне там пока делать нечего.

— Как так нечего? Выполнили план на шестьдесят процентов — и замерзли на этом? За пять дней хоть бы на единицу в сводках прибавили!

— Дмитрий Максимович! —осмелел Сергей. Он шел на душевный разговор, но раз секретарь райкома сам хочет спору — пусть! Он не спасует! — Там все выкошено. Остальное заросло кустарником. Косить больше нельзя...

— План спущен, его надо выполнить! Иль для тебя государственный план — филькина грамота?

— Пересматривать эти планы нужно...— начал Сергей, но Горновой поднялся, вышел из-за стола и, веско роняя слова, произнес:

— Мой тебе совет: выбрось из головы фантазии. Не до воздушных замков. С нас сейчас (слышишь: сейчас!) требуют выполнения планов. Не на будущий год, не через три года — сейчас! Немедленно поезжай в колхоз!..

В жарком шевиотовом костюме вышел Сергей под горячее июльское солнце и остановился у крыльца райкома в растерянности. Что случилось? Был человек — душа нараспашку... Подменили. Голос сухой и резкий, а взгляд!.. Словно заслонка за глазами — в душу не заглянешь. Непонятно. Чудо! Безобразное чудо!..

А никакого «безобразного чуда» не случилось. Все вышло очень просто.

Шлют сложные комбайны, шлют сложные косилки, шлют тракторы. А не секрет, часто случается: хлеб, сжатый серпами, везут молотить на комбайн. Хорошо, если молотить... Наполовину, да в работе машина. Бывает и иначе. Перебирается такой комбайн с одного поля-пятачка на другое и застрянет среди леса. Куда там везти сжатый хлеб, стоит комбайн мертвым грузом, пока вызванный за сорок километров из МТС трактор не вызволит его из беды. Пора поднять бунт против тех, кто равнодушно относится к зарастающим кустами лугам, к клочкам полей, стиснутых лесами, к бездорожью, губящему машины!

С этими мыслями Горновой прибыл в обком партии. С ними он выступил на расширенном заседании бюро, хотя повестка дня, казалось, была далека от этих вопросов. Обсуждали ход работы на сеноуборке, затрагивали вопросы воспитания кадров, осуждали метод руководства через уполномоченных.

— Смешно сказать: мы беспомощны перед простым сосновым пнем. Во всем районе нет куска стального троса, чем можно бы зацепить его,— говорил с трибуны Горновой.

В огромном, залитом через обширные окна солнцем кабинете секретаря обкома сидело много партийных работников из таких же лесных районов. Они одобрительным гулом встречали слова Горнового.

Секретарь обкома в заключительном слове ответил:

— Горновой требует, и справедливо требует, не спорим, стальные тросы. У нас в области есть запасы таких тросов, но предназначаются они для сплава. Может ли обком партии распорядиться выдать их Горновому? Нет, не может! Выдать трос Горновому — значит выдать его и Козлову, и Акиндинову, и другим секретарям райкомов. Сплав окажется под угрозой. Мы не можем оставить сотни строек без леса. Горновой просил: помогите достать, помогите пустить машины... Но, товарищ Горновой, на то ты и коммунист, чтоб побеждать трудности. А ты их испугался! Да, испугался! В колхозах Малое Плесо не скошено на сегодняшний день более двух тысяч гектаров. Ты прикрываешь критикой свое бессилие! Позор!..

Секретарь обкома говорил, как всегда, со спокойной властностью, каждое слово его тяжело падало в зал. Все, кто прежде одобрительным гулом поддерживал Горнового, теперь виновато поеживались.

И все же на следующий день Горновой пошел в областную сплавконтору.

Директор конторы, рослый мужчина, с густым басом истинного сплавщика, сочувственно кивал головой:

— Понимаю, понимаю, сам из крестьян, у самого душа за колхозы болеет... Не скрою, маленькую толику из запасов и могли бы выделить. Но маленькую... Только ведь вот дело-то какое: дай вам тросы — приедут из Борщаговского района, из Фоминского, будут уже не просить, а требовать: мол, мы тоже не рыжие. Вы принесите-ка из обкома бумажку. Пусть два слова черкнут. Дадим...

Горновой ушел ни с чем. После выступления секретаря обкома не могло быть и речи о такой бумажке.

Тросов нет, сеноуборка затягивается, обком недоволен работой райкома, и те горячие мысли, то решение—требовать и настаивать—мало-помалу сменилось у Горнового чувством неловкости, досады на самого себя: «Кого послушал? Кажется, старый конь, объезженный — и на вот: мальчишка вскружил голову!»

Вернувшись, он сразу же сел за сводки. Во всех колхозах косьба и стогование двигались медленно, но в «Ударнике» за эти пять дней, что он отсутствовал, вовсе не двинулись с места. Не скошено ни одного гектара!..

Как раз в это время и пришел Сергей. Горновой не мог с ним иначе разговаривать. Он еще сдерживал себя, чтоб не раскричаться, оставшись один, долго шагал по кабинету, не мог успокоиться: «Мальчишка! Фантазер! Теперь буду держать тебя на прицеле!..»

Знакомой дорогой Сергей шел в колхоз «Ударник». Как и в прошлый раз, стоял жаркий день, солнечные зайчики бегали по белым стволам берез. Так же пахло грибной сыростью, перепревшей хвоей. Тот же лесной покой окружал Сергея... Но не было на душе прежней легкости, уж не чувствовал он в себе неясной силы.

Петр Данилович встретил Сергея, как старого приятеля, с застенчивой улыбкой на лице.

— Отдыхаем пока. Косы на стенки повесили. Все выкошено, под гребешок,— с наивной доверчивостью сообщил председатель.

И Сергея передернуло в душе.

— Что-то придумать надо,— сказал он сдержанно.— План-то не выполнили.

— Да уж что придумывать, хоть лоб расшиби, не придумаешь,— все с той же наивностью возразил ничего не подозревавший Петр Данилович.

— Между кустами надо траву выкашивать.

— Выкошено, верь слову, где только косой можно махнуть, все выкошено.

Петр Данилович, невысокий, в чистой косоворотке, низко, почти по бедрам, подпоясанной узким ремешком, сидел на стуле перед Сергеем, глядел светлыми, честными глазами: «Ей-ей, что ж это ты?.. Неуж не веришь? Ведь я перед тобой, как на исповеди».

«В райкоме считают: раз послали — действует, не сидит сложа руки,— думал Сергей.— До конца сенокосов здесь жить придется. А что делать? Заниматься-то чем?.. Бездельничать?.. Это страшно! Страшнее всяких бюро, всяких нагоняев!.. Нет, надо действовать, чем-то заниматься!»

— План-то не выполнен,— упрямо повторил он.

«Нельзя признаваться, что план не выполним, нельзя! Этот же Петр Данилович упрекнет тогда: в собственном бессилии расписался... Что делать? Как действовать?»

Сергей не глядел в глаза председателю.

— Выполнить надо. Косами негде размахнуться, придется за серпы взяться. Серпами срезать траву между кустов.

У Петра Даниловича изумленно поднялись брови.

— Серпами?.. Помилуй... Много ли серпами возьмем?

— Всех до единого в колхозе поднять придется!

— Пусть всех. Это по кустам лазить, по горсти траву собирать. Ну, много ли насобираем?.. Труда уйма, пропасть трудодней выбросим, а пользы?..

Сергей сам хорошо понимал, что серпы на сенокосе — такое же спасение колхозу, как соломинка, брошенная утопающему. Прав председатель, нельзя возразить ему, но возразить надо, иначе зачем он приехал сюда. И Сергей со всего размаха стукнул кулаком по столу:

— Что за рассуждения?! Боитесь переработать?.. Пустопорожними разговорчиками председатель развлекается! С нас требуют выполнения плана! Не на будущий год, не через три года!.. Сейчас!

Бухгалтер в картузе, шуршавший за своим столом бумагами, притих. Петр Данилович с минуту изумленно мигал желтыми короткими ресницами, потом уставился в пол.

— Вам видней,— сказал он казенным голосом.

Надо чем-то заниматься, надо действовать. Остановись, раздумайся — и опустятся руки.

Он обманывал сам себя. Выводил народ с серпами, с утра до вечера пропадал на покосах, лазил по кустам, придирался раздраженно к каждой мелочи... И чем больше убеждался в бесполезности дела, тем сильнее развивал деятельность. Приказывал, повышал голос, стучал кулаком и не терпел возражений. От простого колхозника до председателя все стали его бояться.

Остановись, раздумайся — и опустятся руки... Но нельзя же приказать себе: не думай! Часто по ночам он долго не мог уснуть от мыслей.

«За серпы ухватились — крохоборство!.. А в чем зло? Мелиоративные машины в наши края не заслали?.. Нет, это не главное. Здесь и без того много машин стоит... С министерских стульев не так-то просто разглядеть нашу нужду. Подсказать нужно, может, убеждать, доказывать пришлось бы... Горновой поехал в область, и где-то там все уперлось в глухую стену. Не захотели, видно, убеждать и доказывать. Привыкли работать по принципу: сверху виднее, прикажут — выполним. Плохой принцип, старорежимный! Не капиталистическое предприятие, где ступенька за ступенькой лесенка вниз спускается: хозяин приказывает управляющему, управляющий — десятнику, десятник — рабочим. Дело-то общее, мы все в нем на равных правах хозяева. Обком отказался выслушать Горнового, Горновой — меня, а мне остается... не слушать Петра Даниловича. Вот где зло — лесенка! Прими все до единого близко к сердцу нужды хозяйства — вышли б из беды, раскорчевали, очистили, машины пустили, серпы забросили... Нашли б выход!»

В такие ночи у Сергея появлялось желание написать обо всем в ЦК. Но утром обычно появлялась неуверенность: «Обком же молчит! Выскочил, скажут, поперед батьки... Куда уж...» И снова вместе с колхозниками лазил по кустам, приказывал, настаивал, повышал голос.

Пора сенокосов прошла.

С камнем на сердце Сергей поднимался в кабинет к Горновому. Сейчас должны начаться упреки: «Для украшения тебя в колхоз посылали, не выполнил, не организовал...»

Но Горновой встретил его не то чтобы дружески, по-старому, но спокойно, деловито.

— Вот видишь, все хорошо. Твои подшефные план почти выполнили,— сообщил он.

Сергей застыл от удивления. Уж кто-кто, а он-то знал, что эти сорок процентов плана «Ударник» выполнить не мог. Серпы — не спасение.

— Вот она, последняя сводка,— протянул секретарь райкома лиловую бумажку.

Сергей взял ее в руки, пробежал цифры: «Что за чудо! Уж не серпами ли они смахнули эти четыреста гектаров?.. Но такому чуду и ребенок не поверит...» Он поднял с бумаги глаза, хотел возразить, но тут встретил настороженный взгляд Горнового. И Сергей ничего не сказал, он положил на стол сводку и, подавленный, растерянный, чувствуя за спиной все тот же настороженный взгляд, вышел.

Он понял. Чуда нет. Бухгалтер колхоза, тот самый незаметный, сумрачный человек, не снимавший за столом даже в самый жаркий день картуз, поставил на сводке цифру. Петр Данилович подписал ее. Кто пойдет проверять в глушь лесов, кто решится облазить и вымерять все заросшие кустами луга, подсчитать застогованное сено? Обмакнуть перо в чернила, вывести цифру — это так легко, просто и совершенно безопасно. Зато не будут таскать на бюро, на исполкомы, кричать о невыполнении, угрожать привлечением к ответственности за срыв плана. Надо бы во весь голос крикнуть: «Фальшь!» Но настороженный, замкнутый взгляд Горнового предупредил Сергея. Горновой сам, кажется, догадывается и не возмущается, не кричит... Понятно: крикни — будут вызовы в обком, упреки в областной газете, разносы на совещаниях. Уйма неудобств, выгоднее скрыть, ибо это всего-навсего догадка. А догадка еще не факт. Это факт скрыть — преступление!..

В этот вечер Сергей долго не мог уснуть. Лежал дома на кровати, перебирал книги. «Луговодство», «Почвоведение», «Агробиология» — все они были для Сергея умные, старые товарищи. Выходя из института, он наивно думал, что они станут в будущей работе лучшими помощниками. Они ему сейчас не могут помочь.

Не выходил из головы бухгалтер, росчерком пера поставивший страшную цифру... Да, страшную!.. По этой цифре на будущий год будет спущен план поголовья скота, который надо кормить настоящим, а не фиктивным сеном... План мясопоставок, план сдачи молока — все упирается в эту цифру! Написанная лиловыми чернилами по лиловой шершавой бумаге — сколько вреда принесет колхозу эта цифра!

Сергей оказался на виду у райкома. Началась уборка, его снова послали в колхоз «Ударник». Снова Сергей подгонял, требовал... Осенью, в серенький день, когда сквозь слезящиеся окна в кабинет Горнового заглядывали мокрые пустые галчиные гнезда, бюро вынесло решение: рекомендовать агронома Княжнина председателем в колхоз «Ударник».

Плетушку сильно раскачивало на залитой жидкой грязью дороге. Сергей и Тулупов сидели, тесно прижавшись друг к другу. Тулупов держал на коленях мокрые вожжи, причмокивал на жеребца и по обыкновению наставлял:

— Руководство через уполномоченных — порочный метод. Надо подбирать кадры в колхозах. Ты специалист. Тебе и карты в руки...

Об этом писали в газетах, об этом говорили на каждом совещании и вчера на бюро повторяли: «Надо укреплять кадры на местах... Ты специалист, тебе и карты в руки...»

— Карты в руки, а козыри в них выбраны,— глухо, в воротник, возразил Сергей.

Тулупов удивленно поглядел на злое лицо своего спутника и вздохнул:

— Непонятный ты человек...

Сергей не ответил. Он зябко поежился и глубже спрятал лицо в поднятый воротник пальто. Летел мелкий дождь.

«Где уж тебе понять,— думал он.— Вот кончил институт, имею диплом и боюсь идти председателем... Машины стоят. Серп да коса в обиходе!.. Внедряй науку, товарищ агроном, но особо не требуй — обрежут! Вот тебе и карты в руки!.. Карты дали, а козыри вынули. На верный проигрыш идешь ты, Сергей...»

Он снова, который уже раз, представил себя на месте Петра Даниловича. К нему станут приезжать такие вот Тулуповы, начнут наставлять: «На технику обрати внимание...» — или хуже того — стучать кулаком, как он сам стучал...

«Что делать? Что делать? Как отказаться?.. Не откажешься — член партии, специалист, тебе и карты в руки... Может, сами колхозники не захотят, одна надежда...»

С этой надеждой и приехал Сергей в колхоз на общее собрание.



Тулупов, подставив под лампу младенческий пушок на лысеющей голове, долго и скучно внушал тесно набившемуся в комнату народу, какой хороший человек Сергей Княжнин: «товарищ Княжнин имеет законченное высшее образование... Товарищ Княжнин — специалист...»

Люди молчали. В дальних углах, куда не доставал свет лампы, поднимался махорочный дым. Петр Данилович, старый председатель, виновато сидел в президиуме. Сергей старался не глядеть на людей: по их молчанию он чувствовал, его здесь не любят. Тяжело было сидеть на виду у всех.

Тулупов отговорил положенное время и с достоинством сел на свое место.

Петр Данилович приподнялся:

— Кто хочет слова?

С минуту стояла тишина, и вдруг из угла, где висел махорочный дым, прогудел мужской голос:

— Не же-елае-ем!

— Что?! — поднял голову Тулупов.

— Не надо нам Княжнина!

— Товарищи, товарищи! — суетливо застучал по столу Петр Данилович.— Не нарушайте порядок!

— Пусть лучше Данилыч остается!

— Слова доброго не услышишь от него. Все криком!

— Товарищи! Товарищи! — стучал Петр Данилович.

— Не жела-а-аем!

Сергей сидел в президиуме, на почетном месте. Он низко пригнул голову к столу. Мелко-мелко задрожали руки, он поспешно спрятал их на колени, ладони покрылись липким потом. «Провалиться бы сквозь пол, исчезнуть...»

Несмотря на долгие и томительные уговоры Тулупова, что надо вести себя организованно, выступать никто не захотел. Тогда Тулупов сам стал председательствовать:

— Раз никто не хочет выступать, будем голосовать. Поднимите руки, кто против Княжнина.

Ни одна рука не поднялась. Тяжелая тишина стояла над головами тесно сбившихся в комнате людей.

— Никого!.. Кто — за?

И снова не поднялось ни одной руки.

— Ну, тогда кто воздержался?

Люди не шевелились.

Снова раскачивающаяся плетушка, чмоканье лошадиных копыт по грязи, густая и сырая темень осеннего вечера.

Сергея знобило, он старался плотнее закутаться в грубый плащ, накинутый поверх пальто. Тулупов начал было разговор:

— Не может понять народ... Предлагают специалиста...

Но Сергей сквозь зубы процедил:

— З-замолчи!

Тулупов испуганно смолк.

Сергей кусал губы, чтоб не застонать от страшной обиды, от унижения. Он хотел, чтоб не выбрали! Хотел сам!.. До чего дошел! Прибыл сюда человек человеком — с партбилетом в кармане, с государственным дипломом... Думал научить людей, доказать им: «Нет плохой земли, есть плохие хозяева!» Ждал: руки по локоть запустит в колхозную землю! Счастье надеялся добыть людям... Но люди-то отвернулись: «Слова доброго не услышишь! Все криком!» Отвернулись! Не нужен!.. Докатился! Позор!

Утром он, бледный, осунувшийся и решительный, вошел в кабинет Горнового, уселся, заговорил спокойно и холодно:

— В новом Уставе партии вместо имеет право критиковать сказано: обязан критиковать! Слышите, Дмитрий Максимович? Обязан!.. В нашем районе неблагополучно. Мы молчим. Отчего? Обком не поддержит? Боимся, толщу бюрократизма не прошибем?.. Партконференция скоро. Воевать надо! Коммунисты поднимутся. Тулуповых немного. Нужно — до ЦК доведем!.. Надо воевать! Под лежач камень вода не течет!.. А на чьей стороне вы будете, товарищ секретарь райкома?

Нагнув голову, Горновой молча слушал, тяжело, исподлобья глядел мимо Сергея.

ДЕНЬ В ОДЕССКОМ ПОРТУ

Фото О. Кнорринга.

Кипучей жизнью, не замирающей ни на минуту, живет порт Одесса. Его удобная бухта — надежное пристанище для кораблей. Множество судов стоит у широких причалов, свежий ветер полощет флаги разных государств.

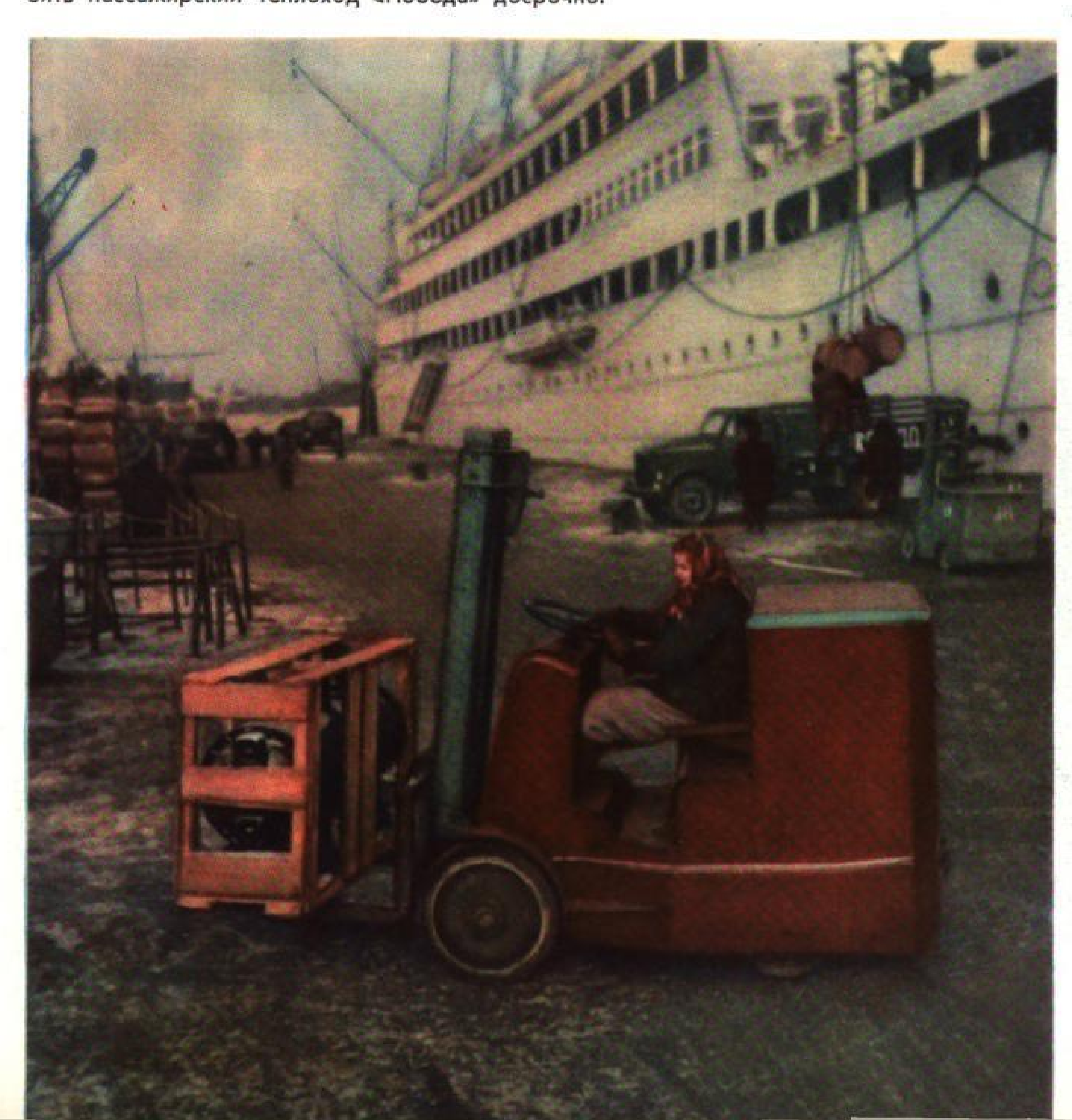
Нескончаемым потоком идут из порта в порт груженые составы, длинной вереницей тянутся автомашины. Могучие краны подхватывают зерно и лес, уголь и текстиль, сталь, цемент, станки, шерсть, вино, фрукты, машины.

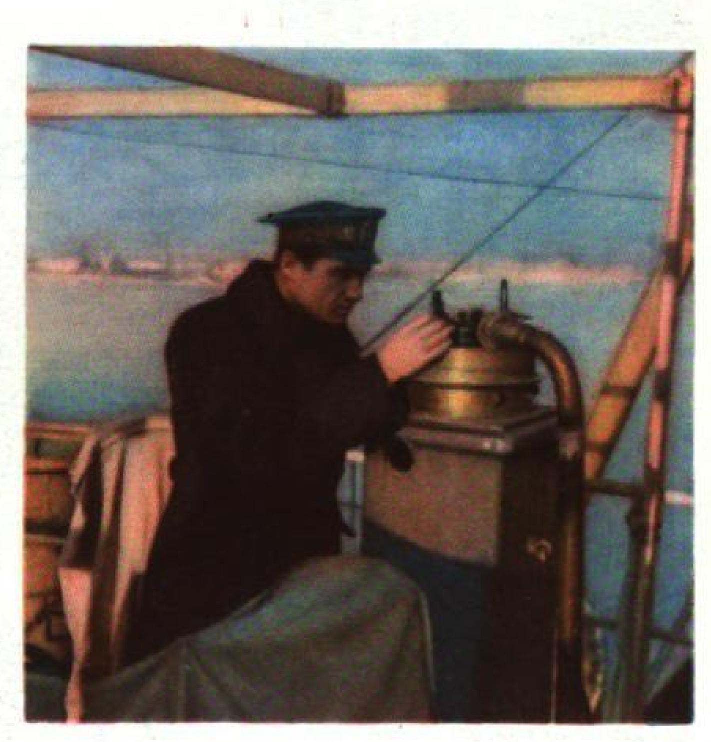
После работы начинаются занятия в учебном комбинате порта. Учатся грузчики, механизаторы, работники складов, электрики, диспетчеры. Большая группа рабочих порта — студенты заочных отделений институтов.



К причалу подошел пароход «Карл Маркс» с товарами народного потребления.

Водитель электротележки Галя Боряк торопится: комсомольцы обязались разгрузить пассажирский теплоход «Победа» досрочно.





Теплоход «Южно-Сахалинск» с грузом продовольствия уходит на южный Сахалин. Третий помощник капитана Владимир Дровалов проверяет навигационные приборы.

Катер «Циклон» занялся буксировкой судов. У штурвала — комсомолец Алексей Исаев. Несколько лет назад это небольшое суденышко совершило переход через бурный Атлантический океан.

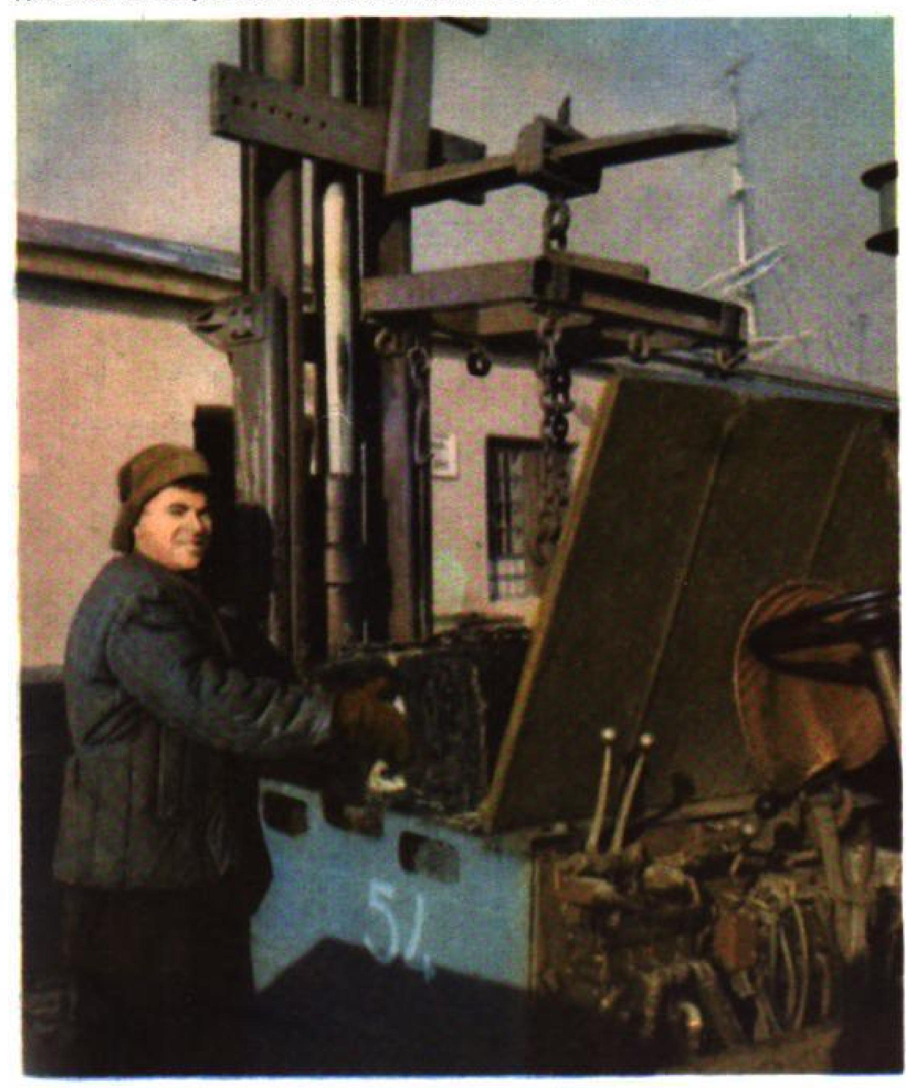
Из северных портов прибыл строительный лес для новостроек юга.

Электрик порта Владимир Греков осматривает свое хозяйство — кабели, питательные электроколонки, механизмы.

В социалистическом соревновании по профессиям Греков вышел победителем и награжден Почетной грамотой ЦК комсомола.

Дина Таран — работник склада 2-го участка. Придирчиво проверяет она, нет ли какого изъяна в грузах.

А. ЗОРИЧ







Людмила Сорокина.

ПРИЕХАЛИ ДРУЗЬЯ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ...



Алина Лявданская.

Людмила Бобрикова.

Е. РЯБЧИКОВ, А. ГОСТЕВ

Специальные корреспонденты «Огонька»

Три подруги, три комсомолки — Люда Сорокина, Люда Бобрикова и Алина Лявданская — поехали из Ленинграда на целинные земли Алтая. Накануне в комитете комсомола им вручили подарки — фотоаппараты.

«На память Сорокиной Людмиле от комсомольцев завода в памятный день отъезда на Алтай. 15 марта 1954 года»,— было выгравировано на никелированной дощечке. Гравер в порыве вдохновения вывел еще быстро летящую ласточку.

— Одна ласточка весну не делает,— улыбаясь, говорил секретарь комитета комсомола, вручая подругам фотоаппараты.— Желаем вам вместе с тысячами комсомольцев сделать эту весну на Алтае большой. Не забывайте нас! Присылайте снимки; по ним мы будем знать вашу жизнь.

И вот — прибыли друзья в дальние края. Стали они новоселами. В маленькой, тщательно побеленной комнате нового общежития Шипуновской МТС стоят три кровати, сложенный из фанерных ящиков книжный шкаф и такой же туалетный столик. В углу, на стене, висят три фотоаппарата. На полке учебники, тетради, книги, и среди них фотоальбом, запечатлевший весь путь девушек от Ленинграда до Шипунова. Многие снимки сделаны молодым конструктором Валерием Уалериановым.

В МТС встретились разные по возрасту, профессиям и жизненному опыту люди: москвичи, ленинградцы, уральцы, ростовчане, новосибирцы. Не все они знали сельскохозяйственные машины. Валерий Уалерианов увлекался в Ленинграде боксом, академической греблей, а двигатели изучал лишь в автоклубе. Евгений Горбачев знаком с гоночными мотоциклами. Столяр Анатолий Бузин недавно окончил автокурсы и сразу по приезде получил задание водить «летучку» — походную автомастерскую. Но ему хотелось изучить трактор «ДТ-54», и вместе с товарищами он пошел на курсы. Лекций еще не было, но, можно сказать, занятия на курсах уже начались. Беседы проводили опытные механизаторы, приехавшие с новоселами поднимать целинные земли: Иосиф Цыбушкин, строивший Волго-Дон, работавший на «Большом шагающем» № 2 и на «Уральце», автомеханик Олег Волков.

Цыбушкин приходил к ленинградским подругам, раскладывал на столе схему устройства «ДТ-54» и говорил, как действует этот мощный гусеничный трактор. В комнатку девушек заглядывала агроном МТС Нина Ивановна Бересенева. Она училась в Ленинграде, после института поехала на Алтай, думала, что проработает здесь два — три года и вернется на берега Невы. Золотой край полюбился Бересеневой; она нашла на Алтае огромное поприще для своих сил и знаний, стала опытным специалистом, вступила в партию и считает себя уже настоящей сибирячкой.

— И вы полюбите Алтай,— говорила Нина Ивановна подругам.

Для молодых ленинградок особенно радостны были встречи с директором Шипуновской МТС Варварой Максимовной Бахолдиной. Родилась Бахолдина на Алтае, отец ее был одним из первых трактористов в Сибири, и дочь переняла его профессию. Почти двадцать лет назад, в 1935 году, Варвара Максимовна выступала с трибуны Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников. К тому времени она была уже знаменитым бригадиром женской тракторной бригады, и слава о ней разнеслась не только по Алтаю. На съезде Бахолдина познакомилась с Пашей Ангелиной, потом училась с ней в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, соревновалась. Когда началась Отечественная война, Варвара Максимовна стала директором Шипуновской МТС. С тех пор она руководит этой крупной станцией на Алтае.

Девушки слушали рассказы Бахолдиной, ходили за ней по пятам, вникали в хозяйственные дела МТС, выезжали с директором в ближайшие колхозы. А когда после окончания курсов первый новенький трактор вручили Люде Сорокиной, Бахолдина пришла к подругам, обняла Сорокину и расцеловала ее. Потом села она с Людой в кабину трактора и посмотрела, как девушка управляет машиной.

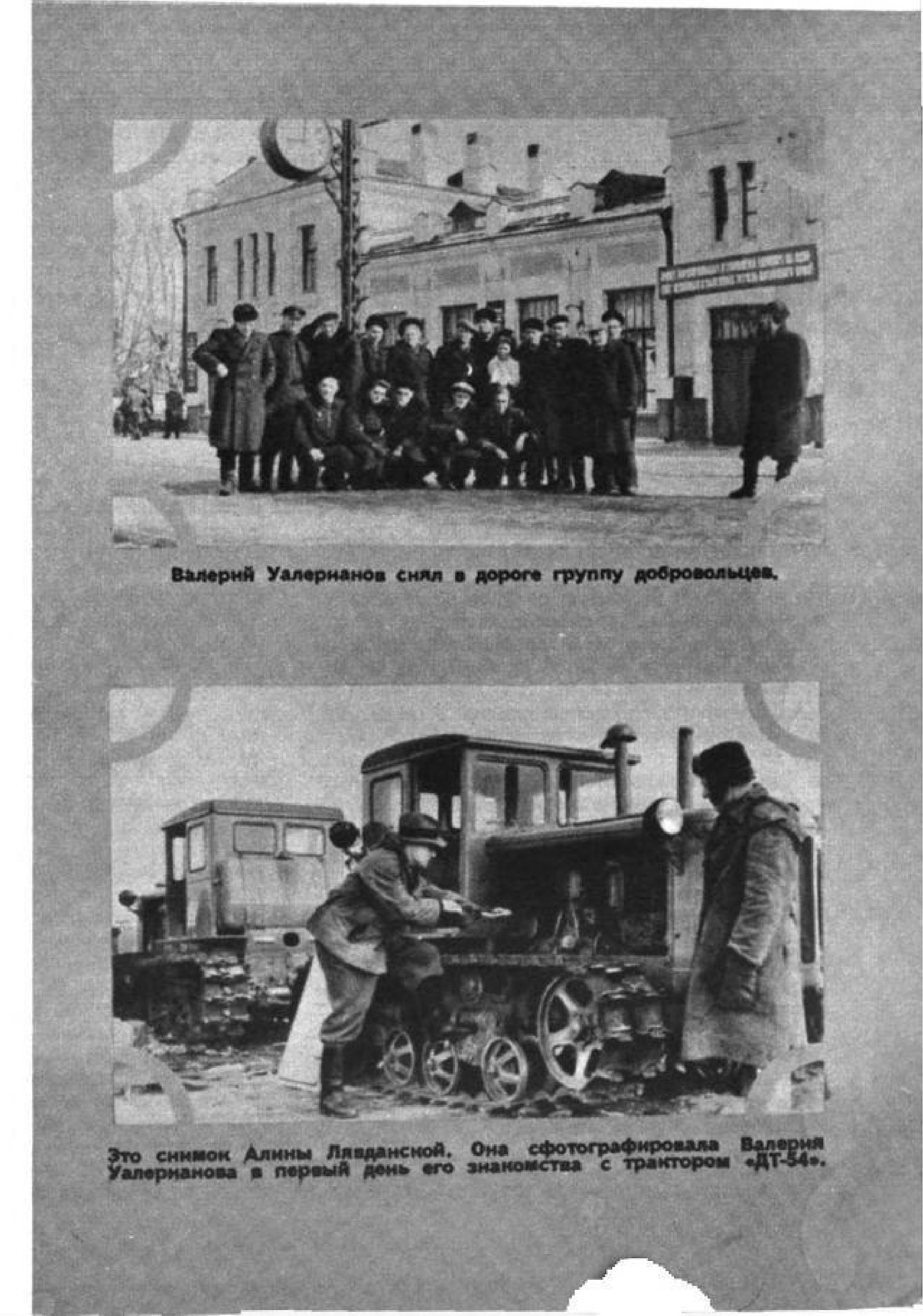
Новые тракторы получили Людмила Бобрикова и Алина Лявданская, Иосиф Цыбушкин и Геннадий Орлов. Еще лежал на полях снег, еще сверкала серебром бескрайняя степь, а повсюду с утра до ночи нетерпеливо шумели тракторы. Каждое утро новоселы справлялись по телефону о погоде: долго ли пролежат снега? Скоро ли в степь, на целину?

Солнце стало греть все сильнее, повеяло теплом, и снег рухнул, сверкнув ручьями и лужами. И пошли тогда, сотрясая алтайские степи, тракторные колонны. Началась великая страда на целинных землях.

В кабинах дизельных тракторов видишь знакомые лица. Загорели, посерьезнели девушки, руки их стали темными от масла, металла и горючего.

Висят в кабинах тракторов именные фотоаппараты девушек, но все реже открываются их объективы: не до съемок — дорог каждый час, каждая минута. Но и те немногие снимки, что появляются в дневнике-альбоме и летят почтовыми самолетами на родной завод в Ленинград, запечатлели трудовые будни трех подруг и их друзей, поднимающих сейчас целину на Алтае.

Алтай, Шипуновская МТС.



Валерий Уалерианов снял в дороге группу добровольцев.

Это снимок Алины Лявданской. Она сфотографировала Валерия Уалерианова в первый день его знакомства с трактором «ДТ-54».



Людмила Сорокина первая села на трактор. Директор МТС В. М. Бахолдина поздравляет ее. Людмила Бобрикова запечатлевает этот знаменательный момент.

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Главы из 2-й книги романа

Мих. ШОЛОХОВ

Рисунок О. Верейского.

Где-то позади остался, скрылся за изволоком Гремячий Лог, и широкая — глазом не окинешь — степь поглотила Давыдова. Всей грудью вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы вздыбленные штормом волны Балтики, и он, не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза... Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле приметную точку. Черный степной орел — житель могильных курганов, — царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно теряя на кругах высоту. Широкие, тупые на концах, недвижно распростертые крылья легко несли его там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костлявому телу черное, тускло блистающее оперенье. Когда он, слегка кренясь на разворотах, устремлялся на восток, — солнечные лучи светили ему снизу и навстречу, и тогда Давыдову казалось, что по белесому подбою орлиных крыльев мечутся белые искры, то мгновенно вспыхивая, то угасая.

...Степь без конца и края. Древние курганы в голубой дымке. Черный орел в небе. Мягкий шелест стелющейся под ветром травы... Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Мелкими и ничтожными показались ему в эти минуты и его любовь к Лушке, и горечь разлуки, и несбывшееся желание повидаться с ней... Чувство одиночества и оторванности от всего живого мира тяжко овладело им. Нечто похожее испытывал он давным-давно, когда приходилось по ночам стоять на корабле «вперед смотрящим». Как страшно давно это было! Как в старом, полузабытом сне...

Ощутимее пригревало солнце. Сильнее дул мягкий южный ветер. Незаметно для самого себя Давыдов склонил голову и задремал, тихо раскачиваясь на ухабах и неровностях заброшенной степной дороги.

Лошаденки попались ему захудалые, возница — пожилой колхозник Иван Аржанов — молчаливый и, по общему мнению в хуторе, слегка придурковатый. Он сильно прижеливал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким нудным и тихим шагом, что на полпути Давыдов, очнувшись от дремоты, не выдержал, сурово спросил:

— Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь?

Аржанов, отвернувшись, долго молчал, потом ответил скрипучим голосом:

— Я знаю, какой «горшок» я везу, но хоть ты и председатель колхоза, а бестолку скакать меня не заставишь, шалишь, брат!

— Кто же говорит, «бестолку»? Но ты хоть под горку тронь их рысцой! Не клажу везешь, считай, порожнем едешь, факт!

После длительного молчания Аржанов неохотно сказал:

— Животная сама знает, когда ей шагом идти, когда рысью бечь.

Давыдов начал не на шутку сердиться. Уже не скрывая возмущения, он воскликнул:

— Вот это лихо! А ты — для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке место просиживаешь? А ну-ка, давай сюда вожжи!

Уже явно охотнее Аржанов ответил:

— Вожжи мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми, чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А ежели тебе не нравится, что я с тобой рядом сижу и место просиживаю, — я могу слезть и идти возле брички пешком, но в твои руки вожжей не отдам, шалишь, брат!

— Это почему же ты не отдашь? — спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо упорно не желавшего смотреть на него возницы.

— А ты свои вожжи в мои руки отдашь?

— Какие вожжи? — не понял сразу Давыдов.

— А такие! У тебя же от всего колхоза вожжи в руках, тебе народ доверил всем хозяйством нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожжи? Не отдашь, небось, скажешь: «Шалишь, дядя!» Вот так и я: я же не прошу твои вожжи? Не проси и ты мои!

Давыдов весело фыркнул. От недавней злости его не осталось и следа.

— Ну, а если, скажем, пожар в хуторе случится, ты и с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами? — спросил он, уже с интересом ожидая ответа.

— На пожар таких, как я, с бочками не посылают...

И тут-то, глядя сбоку на Аржанова, Давыдов впервые увидел у него где-то ниже обветренной, шелушащейся скулы мелкие морщины сдержанной улыбки.

— А каких же посылают, по-твоему?

— Таких, как ты да Макар Нагульнов.

— Это почему же?

— А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскачь живете...

Давыдов рассмеялся от всей души, хлопая себя по коленям и запрокидывая голову. Еще не отдышавшись от смеха, он спросил:

— Значит, если на самом деле пожар случится, — только нам с Макаром и тушить его?

— Нет, зачем же? Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотьями летело, а тушить будем мы, колхозники, — кто с ведром, кто с багром, кто с топором... А распоряжаться на пожаре будет Разметнов, больше некому...

«Вот тебе и дядя с придурью!» — с искренним изумлением подумал Давыдов. После минутного молчания он спросил:

— Почему же ты именно Разметнова в пожарные начальники определил?

— Умный ты парень, а недогадливый, — уже откровенно посмеиваясь, ответил Аржанов. — Кто как живет, — тому такая и должность на пожаре должна быть определенная, по его нраву, словом. Вот вы с Макаром вскачь живете, ни днем, ни ночью спокою вам нету, и другим этого спокою не даете, стало быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки; без воды пожара не потушишь, так я говорю? Андрюшка Разметнов — этот рыском живет, внатруску, лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь... Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки — в бока, и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем, нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар тушить...

Давыдов хлопнул ладонью по спине Аржанова, повернул его к себе и близко увидел хитро смеющиеся глаза и доброе, забородатевшее лицо. Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал:

— А ты, дядя Иван, оказывается, — гусь!

— Ну, и ты тоже, Давыдов, гусь не из последних! — весело отозвался тот.

Они попрежнему тащились шагом, но Давыдов, уверившись в том, что все его старания ни к чему не приведут, уже не торопил Аржанова. Он то соскакивал с повозки и шел рядом, то снова садился. Разговаривая о колхозных делах и обо всем понемногу, Давыдов все больше убеждался в мнении, что возница его — человек отнюдь не ущербленного ума; обо всем он рассуждал толково и здраво, но ко всякому явлению и оценке его подходил с какой-то своей, особой и необычной меркой. Уже когда показался вдали полевой стан и возле него тончайшей прядкой закурчавился дымок бригадной кухни, Давыдов спросил:

— Нет, всерьез, дядя Иван, так всю жизнь ты шагом и ездишь на лошадях?

— Так и езжу.

— Что же ты мне раньше не сказал про такую твою странность? Я бы с тобой не поехал, факт!

— А чего ради я бы заранее себя хвалил? Вот ты и сам увидал мою езду. Один раз проедешь со мной, в другой — не захочешь.

— С чего же это тебе так поделялось? — усмехнулся Давыдов.

Вместо прямого ответа Аржанов уклончиво сказал:

— У меня сосед в старое время был, плотник, запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц! Все с себя, милый человек, пропивал, до нитки!

— Ну?

— Ну, а сын его и капли в рот не берет.

— А ты без притчей, попроще.

— Проще некуда, милый человек. У меня покойный родитель лихой был охотник, а еще лише — наездник. На действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по джигитовке. Вернулся с действительной, — на станичных скачках каждый год призы схватывал. Хоть он и родной отец, а вредный человек был, царство ему небесное! Задатный был, форсистый казачок... Бывало, каждое утро гвоздь в печке на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, а особенно перед бабами... А верхи ездил как? Не дай и не приведи господь! Надо ему, допустим, в станицу по делу смотаться, вот он выводит своего служивского коня из конюшни, подседлает его и — с места в намёт! Разгонит его по двору, пересигнет через плетень, только вихорь за ним вьется. Рысью или шагом сроду не ездил. До станицы двадцать четыре версты — намётом, и оттуда так же. Любил он из лихости зайцев верхом заскакивать. Заметь, не волков, а зайцев! Выгонит где-нибудь из бурьяна этого зайчишку, отожмет от буерака, догонит и либо арапником засечет, либо конем стопчет. Сколько раз он падал на всем скаку и увечился, а забаву свою не бросал. Ну и перевел лошадей в хозяйстве. На моей памяти шесть коней изничтожил: какого насмерть загонит, какого на ноги посадит. Разорил нас с матерью вчистую! В одну зиму два коня под ним убились насмерть. Споткнется на всем скаку, вдарится об мерзлую землю — и готов! Глядим — отец пеши идет, седло несет на плече. Мать, бывало, так и заголосит по-мертвому, а отцу хоть бы что! Отлежится дня три, покряхтит, и еще не успеют синяки у него на теле оттухнуть, а он уж опять собирается на охоту...

— Лошади разбивались насмерть, а как же он мог уцелеть?

— Лошадь — животная тяжелая. Она, когда падает на скаку, через голову раза три перевернется, пока земли достанет. А отцу — что? Он стремена выпустит и летит с нее ласточкой. Ну, вдарится, полежит без памяти, сколько ему требуется, чтобы очухаться, а потом вста-

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 15, 16.



нет и командируется домой пешком. Отважным был, черт! И кость у него была, как из железа клепанная.

— Силен был парень! — с восхищением сказал Давыдов.

— Силен-то силен, но нашлась и на него чужая сила...

— А что?

— Убили его наши хуторские казаки.

— За что же это? — закуривая, спросил заинтересованный Давыдов.

— Дай и мне папироску, милый человек.

— Да ведь ты же не куришь, дядя Иван?

— Так-то всурьез я не курю, а кое-когда балуюсь. А тут вспомнил эту старую историю, и что-то во рту стало сухо и солоно... За что, спрашиваешь, убили его? Заслужил, значит...

— Но все-таки?

— За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Ну, муж ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться; отец был ростом небольшой, но ужасный сильный, тогда муж отцовой любушки подговорил двух своих родных братьев. Дело было на масленицу. Втроем они ночью подкараулили на речке отца... Господь-милостивец, как они его били! Кольями били и каким-то железом... Когда утром отца принесли домой, он был еще без памяти и весь черный, как чугун. Всю ночь без памяти на льду пролежал, должно быть, ему не легко было, а? На льду-то? Через неделю начал разговаривать и понимать начал, что́ ему говорят. Словом, пришел в себя, а с кровати два месяца не вставал, кровью харкал и разговаривал потихонечку-потихонечку. Вся середка у него была отбитая. Друзья приходили его проведывать, допытывались: «Кто тебя бил, Федор? Скажи, а мы...» А он молчит и только потихоньку улыбается, поведет глазом и, когда мать выйдет, скажет шепотом: «Не помню, братцы. Многим мужьям я виноватый».

Мать, бывало, до скольких разов станет перед ним на колени, просит: «Родный мой, Федюшка, скажи хоть мне, кто тебя убивал? Скажи, ради Христа, чтобы я знала, за чью погибель мне молиться?» Но отец положит ей руку на голову, как дитю, гладит ее волосы и говорит: «Не знаю — кто. Темно было, не угадал. Сзади по голове вдарили, сбили с ног, не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал...» Или так же тихонько улыбнется и скажет ей: «Охота тебе, моя касатушка, старое вспоминать? Мой грех — мой и ответ...» Призвали попа исповедывать его, и попу он ничего не сказал. Ужасный твердый был человек!

— А откуда ты знаешь, что он попу не сказал?

— А я под кроватью лежал, подслушивал. Мать заставила. «Лезь,— говорит,— Ванятка, под кровать, послушай, может, он батюшке назовет своих убивцев». Но только отец ничего про них не сказал. Раз пять на поповы вопросы он сказал: «Грешен, батюшка»,— а потом спрашивает: «А что, отец Митрий, на том свете кони бывают?» Поп, как видно, испугался, часто так говорит: «Что ты, что ты, раб божий Федор! Какие там могут быть лошади! Ты о спасении души думай!» Долго он отца совестил и уговаривал, отец все молчал, а потом сказал: «Говоришь, нету там коней? Жалко! А то бы я там в табунщики определился... А ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать, вот тебе и весь сказ!» Поп наспех причастил его и ушел дюже недовольный, очень дюже злой. Я рассказал матери все, что слышал; она заплакала и говорит: «Грешником жил, грешником и помрет кормилец наш!»

Весною — снег уже стаял — отец поднялся, дня два походил по хате, а на третий, гляжу, он надевает ватный сюртук и папаху, говорит мне: «Пойди, Ванятка, подседлай мне кобыленку». У нас к этому времени в хозяйстве осталась одна кобылка-трехлетка. Мать услыхала, что́ он сказал, и — в слезы: «Куда ты гож, Федя, сейчас верхи ездить? Ты на ногах еле держишься! Ежели сам себя не жалеешь, так хоть меня с детишками пожалей!» А он засмеялся и говорит: «Я же, мать, сроду в жизни шагом не ездил. Дай мне хоть перед смертью в седле посидеть и хоть разок по двору шажком проехать. Я только по двору круга два проеду и — в хату».

Пошел я, подседлал кобылку, подвел к крыльцу. Мать вывела отца под руку. Два месяца он не брился, и в нашей темной хатенке не видно было, как он переменился обличьем... Глянул я на него при солнышке, и закипела во мне горючая слеза! Два месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода отросла наполовину седая и усы тоже, а волосы на песиках стали вовсе белые, как снег... Ежели бы он не улыбался какой-то замученной улыбкой, я, может, и не заплакал бы, а тут никак не мог сдержаться... Взял он у меня повод, за гриву ухватился, а левая рука у него была перебитая, только недавно срослась. Хотел я его поддержать, но он не велел. Ужасный гордый был человек! Слабости своей и то стыдился. Понятно, хотелось ему, как и раньше, птицей взлететь на седло, но не вышло... Поднялся он на стремени, а левая рука подвела, разжались пальцы, и вдарился он навзничь, прямо спиной об землю... Внесли мы с матерью его в хату. Ежели раньше он только кашлял кровью, то теперь уж она пошла у него из глотки цевкой. Мать до вечера от корыта не отходила, не успевала красные полотенца замывать. Призвали попа. В ночь он его

пособоровал, но до чего же ужасный крепкий человек был! Только на третьи сутки после соборования перед вечером затосковал, заметался по кровати, а потом вскочил, глядит на мать мутными, но веселыми глазами и говорит: «После соборования, говорят, нельзя босыми ногами на землю становиться, но я постою хоть трошки... Я по этой земле много исходил и изъездил, и мне уходить с нее прямо-таки жалко... Мать, дай мне рученьку твою, она в этой жизни много поработала...»

Мать подошла, взяла его за руку. Он прилег на спину, помолчал, а потом почти шепотом сказал: «И слез она по моей вине вытерла не мало...»,— отвернулся лицом к стенке и помер, пошел на тот свет угоднику Власию конские табуны стеречь...

Очевидно, подавленный воспоминаниями, Аржанов надолго замолчал. Давыдов покашлял, спросил:

— Слушай, дядя Иван, а почем ты знаешь, что твоего отца били муж этой... ну, одним словом, этой его женщины, и братья мужа? Или это твои предположения? Догадки?

— Какие там догадки! Отец сам мне сказал за день до смерти.

Давыдов даже слегка приподнялся на бричке:

— Как, сказал?

— Очень даже просто сказал. Утром мать пошла корову доить, я сидел за столом, перед школой уроки доучивал, слышу,— отец шепчет: «Ванятка, подойди ко мне». Я подошел. Он шепчет: «Нагнись ко мне ниже». Я нагнулся. Он говорит потихоньку: «Вот что, сынок, тебе уже тринадцатый год идет, ты после меня останешься за хозяина, запомни: били меня Аверьян Архипов и два его брата, Афанасий и Сергей косой. Ежели бы они убили меня сразу,— я бы на них сердца не держал. Об этом я их и просил там, на речке, пока был в памяти. Но Аверьян мне сказал: «Не будет тебе легкой смерти, гад! Поживи калекой, поглотай свою кровицу вволю, всласть, а потом издыхай!» Вот за это я на Аверьяна сердце держу. Смерть у меня в головах стоит, а сердце на него все равно держу! Сейчас ты маленький, а вырастешь большой, вспомни про мои муки и убей Аверьяна! Об чем я тебе сказал,— никому не говори, ни матери, никому на свете. Побожись, что не скажешь». Я побожился, глаза были сухие, и поцеловал отцов нательный крест...

— Фу ты, черт, прямо как у черкесов на Кавказе в старое время! — воскликнул Давыдов, взволнованный рассказом Аржанова.

— У черкесов — сердце, а у русских заместо сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые.

— Что же дальше? — нетерпеливо спросил Давыдов.

— Похоронили отца. Пришел я с кладбища, стал в горнице спиной к притолоке и провел над головой черточку карандашом. Каждый месяц я измерял свой рост, отмечался, все скорее хотел стать большим, чтобы стукнуть Аверьяна... И вот стал я в доме хозяином, а было в ту пору мне двенадцать лет, и кроме меня было у матери нас еще семеро детей, мал-мала меньше. Мать после смерти отца стала часто прихварывать, и, боже мой, сколько нужды и горя пришлось нам хлебнуть! Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери,— свой, родной: он нас кормил, одевал и обувал, из-за нас он с весны до осени в поле хрип гнул... Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нюрку — сестренку десяти лет — я вместо матери приспособил стряпать и корову доить, младшие братишки помогали мне по хозяйству. Но я не забывал каждый месяц отмечаться у притолоки. Однако рос я в тот год тупо — горе и нуждишка не давали мне настоящего росту. А за Аверьяном следил, как волчонок за птицей из камыша. Каждый шаг его мне был известный, куда он пошел, куда поехал,— я все знал...

Бывало, сверстники мои по воскресеньям всякие игры устраивают, а мне некогда, я в доме — старший. По будням они в школу идут, а я на базу скотину убираю... Обидно мне было до горючих слез за такую мою горькую жизню! И стал я помалу сторониться своих дружков-одногодков, нелюдимым стал, молчу, как камень, на народе не хочу бывать... Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Ванька Аржанов того, малость с придурью, умом тронутый. «Проклятые! — думал я,— вас бы в мою шкуру! Поумнели бы вы от такой жизни, как моя?» И тут я вовсе сненавидел своих хуторных; ни на кого глядеть не могу! Дай, милый человек, мне еще одну папироску.

Аржанов неумело взял папиросу. Пальцы его заметно дрожали. Он долго прикуривал от папиросы Давыдова, закрыв глаза, смешно топыря губы и громко чмокая.

— А как же Аверьян?

— А что этому Аверьяну? Жил, как хотел. Простить жене любовь моего отца не мог, бил ее смертно, так и вогнал в могилу через год. Под осень женился на другой, на молоденькой девке с нашего же хутора. «Ну,— подумал я тогда,— недолго ты, Аверьян, поживешь с молодой женой...»

Потихоньку от матери начал я копить деньжонки, а осенью, вместо того, чтобы ехать на ближнюю ссыпку, я один поехал в Калач, продал там воз пшеницы и на базаре с рук купил одноствольное ружье и десять штук патронов к нему. На обратном пути попробовал ружье, загубил три патрона. Погано било ружьишко: пистонку разбивал боек не сразу, из трех вышло две осечки, только третий патрон вдарил. Схоронил я дома это ружье под застреху в сарае, никому про свою покупку не сказал. И вот начал я Аверьяна подстерегать... Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то еще какая причина не укажет мне стукнуть его. А своего я все-таки дождался! Главное, не хотелось мне его в хуторе убивать, вот в чем была загвоздка! На первый день Покрова поехал он в станицу на ярмарку, поехал один, без жены. Узнал я, что он один поехал, и перекрестился, а то бы пришлось обоих их бить. Полтора суток я не жрал, не пил, не спал, караулил его возле дороги в яру. Жарко молился я в этом яру, просил бога, чтобы Аверьян возвращался из станицы один, а не в компании с хуторными казаками. И господь-милостивец внял моей ребячьей молитве! Под вечер на другой день гляжу — едет Аверьян один. А до этого сколько подвод я пропустил, сколько раз у меня сердце хлопало, когда казалось издали, что это аверьяновы кони бегут по дороге... Поровнялся он со мной, и тут я выскочил из яра, сказал: «Слазь, дядя Аверьян, и молись богу!» Он побелел, как стенка, и остановил лошадей. Рослый он был и здоровый казачина, а что он мог со мной поделать? У меня же в руках ружье. Крикнул он мне: «Ты что это, змееныш, удумал?» Я ему говорю: «Слазь и становись на колени! Сейчас узнаешь, что я удумал». Отважный он был, вражина! Сигнул с брички и кинулся ко мне с голыми руками... Близко я его напустил, вот как до этой бурьянины, и вдарил в упор...

— А если бы осечка?

Аржанов улыбнулся:

— Ну, тогда бы он меня отправил к отцу подпаском, табуны на том свете стеречь.

— Что же дальше?

— Лошади от выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я дрожу, как лист на ветру. Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу, подыму ногу и опять опущу ее, боюсь упасть. Вот как меня трясло! Ну, кое-как опамятовался, шагнул к нему, плюнул ему в морду и начал у него карманы в штанах и в пиджаке выворачивать. Вынул кошелек. В нем было бумажками двадцать восемь рублей, один золотой в пять рублей и мелочью рубля два или три. Это уж я после сосчитал, дома. А остальные, какие у него были, он, видно, потратил на гостинцы своей молодой жене... Порожний кошелек я бросил тут же, на дороге, а сам сигнул в яр и был таков! Давно это было, а помню все дочиста, как будто только вчера это со мной получилось. Ружье и патроны я в яру зарыл. Уже по первому снегу ночью откопал свое имущество, принес в хутор и схоронил ружье в чужой леваде, в старой дуплястой вербе.

— Зачем деньги взял? — резко и зло спросил Давыдов.

— А что?

— Зачем брал, спрашиваю?

— Они мне нужны были,— просто ответил Аржанов.— Нас в эту пору нужда ела дюжее, чем вошь.

Давыдов соскочил с брички и долго шел молча. Молчал и Аржанов. Потом Давыдов спросил:

— Это и все?

— Нет, не все, милый человек. Наехали следственные власти, рылись, копались... Так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать? А тут вскоре простудился на порубке леса Сергей косой — аверьянов брат — похворал и помер, в легких у него случилось воспаление. И я дюже забеспокоился тогда, думаю: а ну, как и Афанасий своей смертью помрет, и повиснет моя рука, какую отец благословил покарать врагов? И я засуетился...

— Постой,— прервал его Давыдов.— Ведь тебе же отец говорил про одного Аверьяна, а ты на всех трех замахнулся?

— Мало ли что, отец... У отца своя воля была, а у меня своя. Так вот, засуетился я тогда... Афанасия я убил через окно, когда он вечерял. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой. А ружье и патроны утопил в речке; все это мне стало уже ненужным... Я отцову и свою волю выполнил. Вскорости мать затеялась помирать. Ночью подозвала она меня к себе, спросила: «Ты их побил, Ванятка?» Признался: «Я, маманя». Ничего она мне не сказала, только взяла мою правую руку и положила ее себе на сердце...

Аржанов потрогал вожжи, лошади пошли веселее, и он, глядя на Давыдова по-детски ясными серыми глазами, спросил:

— Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу?

— Все понятно,— ответил Давыдов.— Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо, водовозом, факт.

— Об этом я до скольких разов просил Якова Лукича, но он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего...

— Почему?

— Я еще мальчишкой у него полтора года в работниках жил.

— Вот как!

— Вот так, милый человек. А ты и не знал, что у Островнова всю жизнь в хозяйстве работники были? — Аржанов хитро сощурился: — Были, милый человек, были... Года четыре назад он присмирел, когда налогами стали жать, свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком, а не будь зараз колхозов да поменьше налоги, Яков Лукич показал бы себя, будь здоров! Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели...

Давыдов после длительного молчания сказал:

— Это мы исправим, разберемся с Островновым как полагается, а все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой.

Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль:

— Да ведь чудинка,— как тебе сказать... Вот растет вишневое деревцо, на нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище,— из вишенника кнутовище надежнее,— росла она, милая, тоже с чудинкой — в сучках, в листьях, в своей красе, а обстругал я ее, эту ветку, и вот она...— Аржанов достал из-под сиденья кнут, показал Давыдову коричневое, с засохшей, покоробленной корой вишневое кнутовище...— И вот она! Поглядеть не на что! Так и человек: он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовища. Вот Нагульнов какой-то чужой язык выучивает,— чудинка; дед Крамсков двадцать лет разные спичечные коробки собирает,— чудинка; ты с Лушкой Нагульновой путаешься,— чудинка; пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает,— тоже чудинка. Милый человек мой, председатель, а вот лиши ты человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище.

Аржанов протянул Давыдову кнут, сказал, все так же задумчиво улыбаясь:

— Подержи его в руках, подумай, может, тебе в голове и прояснеет...

Давыдов с сердцем отвел руку Аржанова:

— Иди ты к черту! Я и без этого сумею подумать и во всем разобраться!

...Потом, до самого стана, они всю дорогу молчали...

Суда пойдут по Камскому морю



Буксирные пароходы готовы к плаванию.

Фото И. Богданова.

В затонах молотовского судоремонтного завода, среди потемневших от весенней оттепели льдов, стоят блистающие свежей краской буксирные пароходы «Александр Невский», «Зоя Космодемьянская», «Афанасий Шилин»... Они отличаются от соседних судов высокими, достигающими одного метра металлическими фальшбортами, новыми шлюпочными устройствами, герметически закрытыми люками с резиновыми прокладками... Нынешней зимой эти суда были переоборудованы для плавания в озерных условиях и сейчас готовятся к первому рейсу по Камскому морю.

Скоро войдет в строй одно из крупнейших сооружений Камской ГЭС — судоходный шлюз. В навигацию этого года здесь впервые пройдут караваны плотов. Уже в мае с верховьев Камы через шлюз будет пропущено два миллиона кубометров древесины. Тысячи тонн сельскохозяйственных грузов и товаров широкого потребления пойдут вверх по реке.

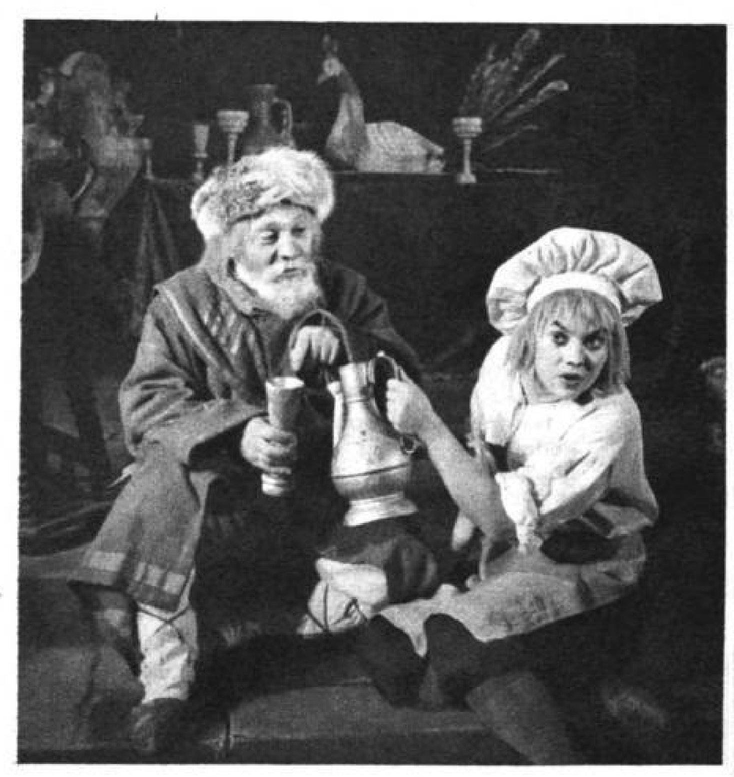
Ввод в действие первой очереди Камгэс значительно изменит водный режим реки. Подымется уровень воды не только в Каме, но и в ее притоках. На протяжении десятков километров увеличатся габариты судового хода по рекам Чусовой и Сылве, которые теперь уже перестанут быть «малыми реками», а превратятся в полноводные пассажирские и грузовые магистрали. Появятся новые судоходные реки, как, например, Обва, по которой этим летом будет организовано судоходство от устья до села Ильинского

В навигацию 1954 года многим судам Камского пароходства придется совершать рейсы в непривычных условиях. По расчетам специалистов, в Камском водохранилище возможны волнения до четырех баллов. Высота волны в штормовую погоду может достигать двух метров. Поэтому для укрытия судов при шторме выбраны и оборудуются восемь специальных пунктов-убежищ. Чтобы обеспечить безопасный путь, по новым трассам устанавливаются береговые и пловучие электрифицированные знаки.

Для плавания в озерных условиях переоборудованы шестнадцать мощных буксиров.

А. ГРИГОРЬЕВ

ОПЕРА ДВОРЖАКА НА ХАРЬКОВСКОЙ СЦЕНЕ



Сцена из оперного спектакля «Русалка» А. Дворжака. Лесничий — Б. Бутков и Поваренок — Е. Заховаева.

Фото Н. Савченко.

В Харькове осуществлена постановка оперы выдающегося чешского композитора Антонина Дворжака «Русалка». Поэтичная народная легенда, положенная в основу оперы, яркие музыкальные характеристики, превосходные вокальные партии привлекли к ней внимание театра.

Постановщики спектакля режиссер В. Скляренко и дирижер П. Баленко верно и глубоко раскрыли партитуру, сумели выделить главное в замысле композитора. Удачно оформлен спектакль художником Д. Овчаренко.

Основные роли исполняют молодые певцы, недавние воспитанники Харьковской государственной консерватории,— Т. Бурцева и А. Оголевец (Русалка), Е. Червонюк (Водяной), М. Суховольская и Е. Слепкова (Баба-Яга), Е. Заховаева и Д. Левитина (Поваренок).

Ю. ИВАНОВ

Юные археологи

Несколько шестиклассников краснозаводской школы Загорского района, Московской области, играли недалеко от села Рогачево.

Один из мальчиков заметил какой-то металлический предмет, торчащий в запорошенной снегом земле.

— На дуло похоже!..

Ребята осторожно откопали находку. Перед ними лежала маленькая пушка.

— Старая какая! Наверно, историческая!

Женя и Юра Степановы и Игорь Благонравов с трудом притащили пушку домой. Они почистили ее, а затем позвонили в Загорский историко-художественный музей-заповедник. Вскоре из города приехал сотрудник музея.

Оказалось, что школьники нашли пушку XVII—XVIII веков, которая называлась «тюфяком». Такие пушки в свое время были широко распространены. Небольшой размер давал возможность легко передвигать их и бить по врагу прямой наводкой. «Тюфяками» пользовались и пугачевцы.

Через несколько дней после звонка краснозаводских школьников в научную часть музея пришли пионеры 7-го класса «Б» школы № 14 Загорска Игорь Карпенко и Виталий Коротков. Они принесли в дар коллекцию русских и иностранных монет — более двухсот штук. Особенную ценность представляют серебряные монеты времен царя Михаила Федоровича Романова, медная монета петровской эпохи, серебряные рубли времен Елизаветы и Екатерины II.

Исторический кружок школьников при музее-заповеднике объединяет юных энтузиастов истории и археологии. Многие из них имеют опыт археологической работы и участвуют в раскопках.

Б. ЯРАНЦЕВ

Диссертация Григория Захаряна

Большой зал Ереванского государственного университета имени В. М. Молотова. Сюда пришли преподаватели, студенты, многочисленные гости. Предстояла защита диссертации молодым аспирантом Григорием Хачиковичем Захаряном. Но вместо Захаряна на кафедру поднялся один из его товарищей.

— Ввиду особых обстоятельств, не зависящих от диссертанта, — сказал он, — автореферат поручено зачитать мне.

...Осень 1942 года. Шесть дней не прекращались напряженные бои у города Великие Луки. В авангарде ударного батальона шел танк «четырех братьев», как называли бойцы экипаж лейтенанта Григория Захаряна. О крепкой дружбе между отважными воинами-комсомольцами — русским Мусиным, украинцем Кириченко, казахом Рахматулловым и их командиром армянином Захаряном—на фронте знали многие. Когда батальону приказали выбить противника из сильно укрепленного пункта, командир решил поручить выполнение ответственного задания экипажу «четырех братьев». В этом бою Григорий получил тяжелое ранение и лишился зрения.

— Мне было тогда двадцать лет, — рассказывает Григорий Хачикович.— Окончательно убедившись, что зрения не вернуть, я решил не возвращаться домой. Зачем огорчать родителей, быть им обузой, думал я. Пусть считают, что их сын погиб на фронте. А я умею играть на гитаре, балалайке, устроюсь где-нибудь музыкантом...

Но вскоре в нашу палату доставили полкового комиссара Сергеева. Он, как и я, в бою лишился зрения. С первого же дня мы крепко подружились. Узнав, что я не собираюсь возвращаться домой, комиссар рассердился. «Нет, так не годится,— говорил он. — Это — малодушие. Вспомни-ка Николая Островского. Вот с кого нам надо брать пример».

...Прошло десять лет. Молодой коммунист Григорий Захарян окончил юридический факультет Ереванского университета, а затем и аспирантуру. Еще будучи студентом, Григорий подружился со своей однокурсницей Эммой. Молодые люди полюбили друг друга и поженились.



Григорий Хачикович Захарян с детьми.

Фото В. Амаляна.

Много друзей у Григория. Они читали ему, писали под диктовку. Профессор Арам Михайлович Есаян, научный руководитель Григория, помогал молодому ученому.

...Защита окончена. Ученый совет университета единогласно присудил Г. Х. Захаряну степень кандидата юридических наук.

Недавно на одной из центральных улиц Еревана, в новом доме, Захарян получил квартиру. По вечерам у него бывает много гостей — братья, товарищи, студенты. После ужина часто устраивают домашние концерты. В них участвуют все члены семьи. Отец играет на таре, Григорий на гитаре, сынишка бьет в бубен, а Эмма — признанная среди знакомых певица.

Л. ХАЧИКОГЛЯН

Шапка Богдана Хмельницкого



Мы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Директор музея С. Р. Щуцкий показывает нам нарядный головной убор. Это мужская шапка. Верх из атласного шелка покрыт узором в виде ветвей с цветами, вышит серебряной нитью. Подкладка из шелковой тафты, стеганной на вате. Низ шапки оторочен зеленой с золотой нитью бахромой.

На истлевшей от времени, пришитой к шапке бумаге выцветшими ореховыми чернилами по старой орфографии написано:

«Шапка Гетмана Богдана Зиновія Хмѣльницкаго скончавшаг. въ 1657 году.

Хранилась у его правнучатной племянницы Ольги Ал. Петровской жившей въ Об...ни».

Как эта шапка попала в фонд музея?

В 1947 году здесь были получены некоторые материалы, вывезенные гитлеровцами. В ящике с белорусскими головными уборами находилась и эта шапка. Ее повезли в Москву, в Исторический музей, на экспертизу. Там выяснили, что шапка прежде имела не лимонный, как теперь, а алый цвет. Атлас и тафта, из которых она сшита, относятся к очень распространенным в XVII веке тканям.

В. ПОНОМАРЕВ





Американские военнопленные на пути из лагеря Сонкокни в Паньмыньчжон, где происходила пресс-конференция.

НАШ ПУТЬ — В НОВЫЙ МИР!

Н. ХОХЛОВ

— Интересно! Но... не для наших газет. Читателей Соединенных Штатов Америки и Англии не могут устроить статьи об их же соотечественниках, которые отказываются ехать обратно в свои страны...

Такие заявления мне приходилось не раз слышать от корреспондентов английских и американских буржуазных газет, посещавших лагерь Сонкокни, где находились военнопленные «войск ООН».

Это был страх перед правдой. Это было рассчитанное бегство от фактов, нежелательных и неприятных для американского командования в Корее. Американские журналисты так и не решились рассказать на страницах своих газет о тех причинах, которые привели большую группу солдат лисынмановской и американской армий к твердому решению порвать с прежними взглядами и убеждениями и начать новую жизнь.

Группа американских военнопленных, отказавшихся вернуться в США.



Каждая встреча официальных и неофициальных представителей Соединенных Штатов Америки с этими военнопленными превращалась в политический спор людей двух резко противоположных воззрений. Так произошло и в тот день, когда, отказавшись от репатриации, военнопленные — 325 южнокорейцев, 21 американец и 1 англичанин — покинули лагерь в деревне Сонкокни и прибыли в Паньмыньчжон на пресс-конференцию.

Очевидцам запомнилось шествие военнопленных. Они шли не спеша, свободным строем, неся лозунги и множество флагов. Паньмыньчжон огласился гимном молодых борцов за мир — пленные его пели на английском и корейском языках. Не обошлось и без шутки. Один из американских пленных вел собачку, облаченную в попону с надписями: на одной стороне — «Никакой репатриации» и на другой — «Не надо ваших разъяснений».

Пресс-конференция происходила в Пагоде мира — той самой, где было подписано перемирие. Здание еле вмещало собравшихся. Приехали корреспонденты китайских, корейских, индийских и многих других газет мира. Как выяснилось потом, американские и английские корреспонденты колебались: ехать или не ехать? Но корреспондент «Юманите» Валфред Барчетт и Алан Уиннингтон из английской «Дейли уоркер» проявили заботливость по отношению к своим американским и английским коллегам: заехали за ними и привезли в Пагоду мира.

Пресс-конференцию открыл главный корреспондент агентства Синьхуа в Кэсоне товарищ Шэн Тьен-ту. Зал притих, когда американец Ричард Кордиен от имени всех военнопленных начал зачитывать заявление.

«Почему мы не возвращаемся домой?» — таким вопросом начинается этот документ. В заявлении изложены причины, которые побудили военнопленных отказаться от репатриации. «На собственном опыте мы знаем,— писали военнопленные,— что́ происходит в Южной Корее, в Соединенных Штатах Америки, в Англии. В Южной Корее возвратившихся пленных, которым удается избежать расстрела и заключения в концентрационный лагерь, ждет вербовка в армию, господство помещиков, нищета, жизнь под властью американской марионетки.

В Америке пленных ждут преследования, маккартизм, насильственное помещение в психиатрическую больницу в Валли-Фордж, а тех, кто является негром по национальности,— закон Линча и расовая дискриминация. Любой, кто произносит в Америке слово «мир», немедленно причисляется к коммунистам и объявляется вне закона».

Корреспонденты многих американских газет, наводняющие район Паньмыньчжона, писали о чем угодно: от статей о перспективах войны и мира до репортажей о гардеробах и меню американских генералов. Но они так и не написали ни одной строчки об этом заявлении своих соотечественников!

На пресс-конференции в Пагоде мира военнопленные часто ставили буржуазных корреспондентов в неловкое положение, разоблачая и высмеивая выдумки американской пропаганды о якобы «насильственном задержании» корейско-китайской стороной этой группы пленных. Американские журналисты, стараясь хоть чем-нибудь подкрепить свои измышления, пустили в ход «показание» пленного Дикенсона. Пленный этот незадолго до того репатриировался, хотя вначале отказывался вернуться в Америку. Американские газеты изобразили этот случай как «бегство американского военнопленного из рук красных».

И вот на пресс-конференции в Пагоде мира корреспондент от «Юнайтед пресс» спрашивает:

— Дикенсон рассказывал, что в лагере были ножи. Это верно?

— Да, были,— тотчас же отвечает пленный Чарльз Адамс.

— Вы не скажете, где они хранились?

— На кухне у повара...

Хохот сотен людей потряс зал. Он еще более усилился, когда собака, которую один из пленных держал на поводке, поднялась на задние лапы и энергично облаяла представителя американского агентства.

— Каковы были условия жизни в лагере и вообще в плену? — спрашивает американский

корреспондент, явно утративший свое высокомерие.

Ему обстоятельно отвечает американец Ричард Кордиен.

— На этот вопрос мы уже не раз отвечали и в беседах, которые вели с нами, и в выступлениях для печати. Весь мир знает, что мы содержались в условиях действительной гуманности. Если еще некоторые корреспонденты сомневаются в этом, я могу сослаться на следующее. В лагере мы имели хорошую библиотеку. Жестоко ошибется тот, кто думает, что это была только коммунистическая литература. Мы читали сочинения Марка Твена, Голсуорси, Джека Лондона, Лермонтова, Льва Толстого, Шекспира и других классиков мировой литературы. Кстати сказать, многие из нас только в плену познакомились с произведениями этих авторов. Мы располагали книгами и по истории Соединенных Штатов Америки. Китайские товарищи снабдили нас даже религиозными книгами (правда, охотников до чтения такой литературы почти не было). Факт этот, видимо, никак не может уложиться в голове некоторых американцев, которые составили превратное представление о «красных китайцах» по лживым статейкам, оскорбительным для китайского народа, великого в своем подлинном гуманизме...

Корейско-китайские власти удовлетворили просьбу военнопленных: всем им разрешено проживать в Китае и Корейской Народно-Демократической Республике на правах свободных граждан.

На другой день после пресс-конференции у нас была беседа с американцами, которые отказались репатриироваться. Они разместились в Кэсоне, в отведенном для них двухэтажном особняке. Мы сидели в «комнате развлечений» — так названо помещение, где проводятся вечера художественной самодеятельности, игры, танцы. Пили ароматный китайский чай, угощали друг друга сигаретами — китайскими, индийскими, американскими. Вильям Говард, Эндрю Фортуна, Лесли Джигс, Скотт Раш, Гарольд Вебб и другие с большой теплотой рассказывали о том, как человечно относятся к пленным представители китайских народных добровольцев и корейской Народной армии.

— Мы будем работать для мира,— говорит Сэмюэл Хаукинс.— Этим мы надеемся смыть черное пятно в наших биографиях: участие, хотя и кратковременное, в преступной войне против корейского и китайского народов. Мы были одурачены американской пропагандой. В плену мы прозрели. Прозрел каждый, кто честно хотел разобраться в международных событиях. Мы твердо избрали путь. Этот путь — в новый мир!

Разговор наш прерывается. Только что передано по радио сообщение: министр обороны Соединенных Штатов Америки Вильсон приказал Пентагону «разжаловать с позором» 21 американца, которые посмели отказаться от возвращения в США. Военнопленные иронизируют над министром обороны: он несколько запоздал с «отлучением» их от агрессивной армии...

Мы уединяемся с Ричардом Тениссоном. Его судьба интересна и во многом поучительна. Он выходец из буржуазной семьи, проживающей в городе Алден, штат Миннесота. Отец его довольно состоятельный бизнесмен; один дядя работает в Пентагоне, другой — профессор технологического института. Все именитые родственники были удручены, узнав, что Тениссон не собирается возвращаться в Америку, а остается на жительство в «красном» Китае.

— Я считаю,— говорит Тениссон,— что мои сородичи переполошились отнюдь не из-за меня. Они обеспокоены, конечно, за себя, за свои посты. Полагаю, что кое-кто из Тениссонов уже познакомился с известной комиссией Маккарти. Еще бы! Такая благонадежная буржуазная семья, и вдруг в ней появился человек, остающийся в Китае, в том самом Китае, который, вопреки здравому смыслу, не желают признавать американские государственные мужи!.. И вот на домашнем совете решили спасти положение. Пользуясь влиятельными связями, моя мать оформила визу и прилетела в Токио. Вскоре через индийского офицера я получил письмо от мамы, в котором она умоляла меня вернуться домой. Я понимаю чувства моей матери. Но убеждения и взгляды, которых я твердо и искренне придерживаюсь сейчас, заставили меня решительно отказаться от репатриации. Поездка матери в Токио была невероятно раздута американской пропагандой. Трижды мы обменялись письмами с ней; в последнем она уже не пыталась уговаривать меня вернуться в Соединенные Штаты, а только просила беречь свое здоровье. Она поняла, что мы говорим на разных языках и что с пути, избранного мной, меня никто сейчас совлечь не сможет...



По дороге на пресс-конференцию.



Выступает военнопленный американец Тениссон

Английский военнопленный Кондрон (второй слева) дает интервью иностранным корреспондентам.



Реакционные американские газеты требовали учинить «суд» над группой военнопленных, оставшихся на жительство в Китайской Народной Республике. Но никакие угрозы, никакие шантажистские приемы не возымели действия: все 21 американский военнопленный, из которых трое негры, решительно заявили, что в США они не вернутся...

Недавно в лондонском журнале «Иллюстрейтэд» была опубликована статья матери английского пленного Эндрю Кондрона. «Я не могу сказать, почему Эндрю поступил так,— пишет она, имея в виду отказ Кондрона от репатриации.— Он был таким жизнерадостным, любознательным».

В Кэсоне я беседовал с Эндрю Кондроном. Уроженец Скотленда, он был призван на службу в британский флот в августе 1946 года. Кондрон — бывалый солдат. Он посетил Египет, Испанию, Францию, Италию, Турцию, Японию. В Корее он служил в американской морской пехоте и был пленен в районе Ченчжиня в ноябре 1950 года.

— Годы плена на многое открыли мне глаза,— заявил Кондрон.— Только в плену у революционных армий, какими являются китайская и корейская армии, могло произойти то, что произошло со мной и моими товарищами.

Таков ответ Кондрона на письмо, возможно, продиктованное его матери теми, кто хочет во что бы то ни стало охаять, облить грязью военнопленных из лагеря Сонкокни.

Паньмыньчжон — Кэсон.



> Я хотел бы прочесть в вашем журнале о работе Московского почтамта. Расскажите, как получают письма на почтамте, как их сортируют, развозят. Желательно рассказ сопроводить фотографиями.
>
> **В. И. Новоселов**
> Поселок Маслянино.
> Новосибирской области.

Ранним утром, когда столичные магистрали прихорашиваются после сна, из здания Московского почтамта, из почтовых отделений выходят три тысячи почтальонов. Их сумки туго набиты газетами, журналами, письмами.

Одновременно на улицы выезжают десятки юрких «Москвичей» с надписью: «Связь». До трехсот километров исколесит за день каждая машина. Три тысячи ящиков развешаны на стенах домов, их нужно разгрузить несколько раз в день.

В столицу почта ежедневно поступает в восьмидесяти почтовых вагонах, в десятках самолетов. Эти же вагоны и самолеты увозят ее из Москвы. Дневная почта столицы весит до четырехсот тонн. Свыше двух миллионов писем получает и отправляет ежедневно Москва.

Поток писем и телеграмм возрастает в предпраздничные дни. Цифра отправляемых москвичами поздравительных телеграмм становится семизначной. В канун Нового года только на станциях метро было принято почти полмиллиона телеграмм.

...Людно и оживленно в огромном операционном зале Московского почтамта. Подсчитано, что ежедневно его посещает не менее десяти тысяч человек. Их обслуживает целая армия связистов.

Пройдем за перегородку операционного зала. Познакомимся с тем, что происходит за его «кулисами».

В большом помещении сложены тысячи посылок. Транспортер доставляет их прямо с улицы, где разгружаются прибывшие с вокзалов автомашины. Для сортировки посылок связисты придумали интересную машину. По конвейеру одна за другой движутся посылки. Человек нажимает кнопки пульта управления. Сжатый воздух открывает ворота соответствующего шлюза — и посылка сбрасывается туда. Таких шлюзов четырнадцать: каждый для нескольких, смежных друг с другом почтовых отделений города. Рассортированные посылки легко отправить по назначению.

В соседнем помещении разбирают письма из Москвы. Их распределяют по направлениям, или, как говорят связисты, по трактам. Трактов сорок девять. У шкафов, разделенных на сорок девять клеток, сидят сортировщицы. Быстрым взмахом руки они бросают письма в нужную клетку. Ошибка недопустима: письмо заблудится, пойдет не по назначению. Нужно хорошо знать географию страны, чтобы мгновенно определить, в какой клетке место письму. А сколько новых городов и поселков появилось в стране! Малоизвестный поселок Семеновка в Приморском крае стал городом Арсеньевым. Появился город Советабад в Таджикистане. Поселок Ангреншахтстрой стал городом Ангреном, а для города Ангарска в Иркутской области понадобилось даже выделить в шкафу отдельную клетку: так много пишут туда из столицы. Некоторые тракты пришлось разделить на два: из ленинградского выделен северо-западный, из ташкентского — среднеазиатский.

...Мелькают письма в руках сортировщицы. Но вот она откладывает в сторону несколько конвертов. В чем дело?

Письмо из Министерства сельского хозяйства СССР адресовано в город Чарджоу... Чувашской ССР вместо Туркмении. Еще одно — из того же министерства: город Пярну... Латвийской ССР вместо Эстонии. Главное управление радиоинформации шлет письмо в город... Трест. Строительная организация выдумала город Уху и отсылает туда свою очередную директиву. Таких писем сортировщицы вылавливают ежедневно десятки.

Связисты собрали почту, которую отправил Верховный Суд РСФСР. Здесь были письма, адресованные в несуществующий в Ворошиловской области Ладомирский район. Город Тихорецк очутился в Башкирской АССР, хотя он расположен на Северном Кавказе, а в Краснодарском крае появился новый, Куйбышевский район. На одном из писем черным по белому было написано: «Ставропольский край, Куйбышевской области»...

— Куда же вы отправляете такие письма? — спросили мы.

— Отсылаем обратно в Верховный Суд... на суд!

Комсомолка Галина Любина сортирует письма, прибывшие в Москву. Они носятся в воздухе, как мячи у циркового жонглера. Около пятнадцати килограммов почты разбирает она в течение часа. Молниеносный взгляд на конверт — и письмо летит в отведенную ему клетку.

Вдруг Галина улыбается, откладывает открытку в сторону. Читаем ее: «Мама! Поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем тебе хорошего здоровья на долгие годы. Варя. Маруся. Диночка. Ваня». Но открытка без адреса. По штемпелю узнаем, что ребята в восемь утра пришли на почтамт, чтобы послать поздравление, но впопыхах забыли написать адрес...

Чтобы ускорить доставку почты, Москва теперь разделена на 10 почтовых районов, и каждому району, за исключением центрального, присвоена определенная буква: А, Б, В... Если письмо предназначено москвичу, живущему на территории 92-го почтового отделения, адресовать его следует так: «Москва, И-92». Это даст возможность доставлять почту с вокзалов прямо в районные почтовые узлы.

Почтальоны знают, что в течение месяца несколько раз проверяется работа каждого из них. И им приятно, когда от москвичей приходят ответы с благодарностью за быструю доставку писем.

Большинство столичных почтальонов — девушки. Многие учатся в школах рабочей молодежи и в техникумах. Но есть среди почтальонов и люди преклонного возраста, которые всю свою жизнь проработали на почтамте и, хотя их дети давно стали врачами и инженерами, не бросают привычной профессии.

...Снова замелькали письма в руках Галины.

— А вот эта открытка кому? — спрашивает она, улыбаясь.

Адрес на ней лаконичен: «Москва, Главный почтамт, самой хорошей девушке».

Никто не взялся определить, какая из девушек лучше. И письмо, увы, останется без ответа...

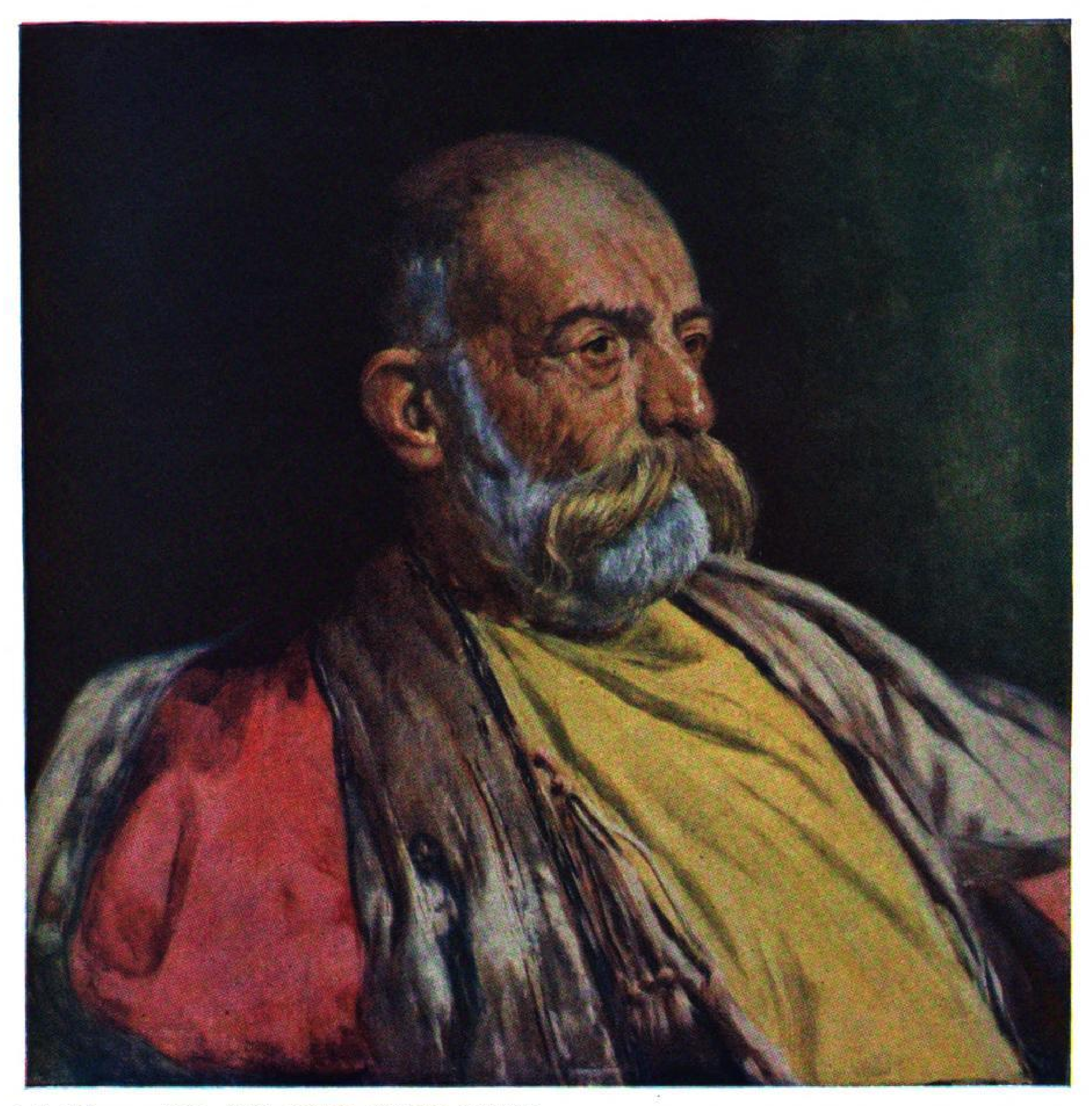
Я. МИЛЕЦКИЙ



Машина сортирует посылки.



Взмах руки Галины Любиной — и письмо летит в клетку.
Фото Е. Тиханова.



Г. И. Габашвили (1862—1936). ПОРТРЕТ СТАРОГО ГРУЗИНА. Государственный музей искусств Грузинской ССР.

Из фондов Тбилисского музея

В Тбилиси, в Государственном музее искусств Грузинской ССР, собрана большая коллекция образцов национального творчества. Здесь можно познакомиться с чудесными миниатюрами рукописей XVI — XVII веков, с первыми живописными и графическими станковыми работами, с произведениями 60—70-х годов XIX века, когда в связи с ростом демократических настроений и под влиянием русского революционно-демократического искусства создаются реалистические произведения, выполненные в народных традициях. Большой раздел музея посвящен творчеству советских художников Грузии. В музее имеется также немалое собрание первоклассных работ русских художников.

Народный художник Грузинской ССР Г. И. Габашвили, работу которого «Портрет старого грузина» мы печатаем,— основоположник грузинской реалистической живописи. В его творчестве явственно сказывается влияние передвижников и особенно И. Е. Репина. Талантливый мастер посвятил свое искусство изображению жизни и быта грузинского народа. Во всех его работах — жанре, пейзаже и портрете — живописное мастерство, образные характеристики сочетаются с национальными принципами искусства.

Глубоко лирична картина «Думы матери» У. М. Джапаридзе, народного художника Грузинской ССР. Живописец нашел ясное композиционное решение. Далекие горы, холодный и чистый родник, старое, корявое, но еще крепкое с зелеными листьями дерево, выросшее на каменистой горе,— этот суровый пейзаж помогает художнику раскрыть образ женщины-матери, отдавшей всю свою трудовую, нелегкую жизнь детям.

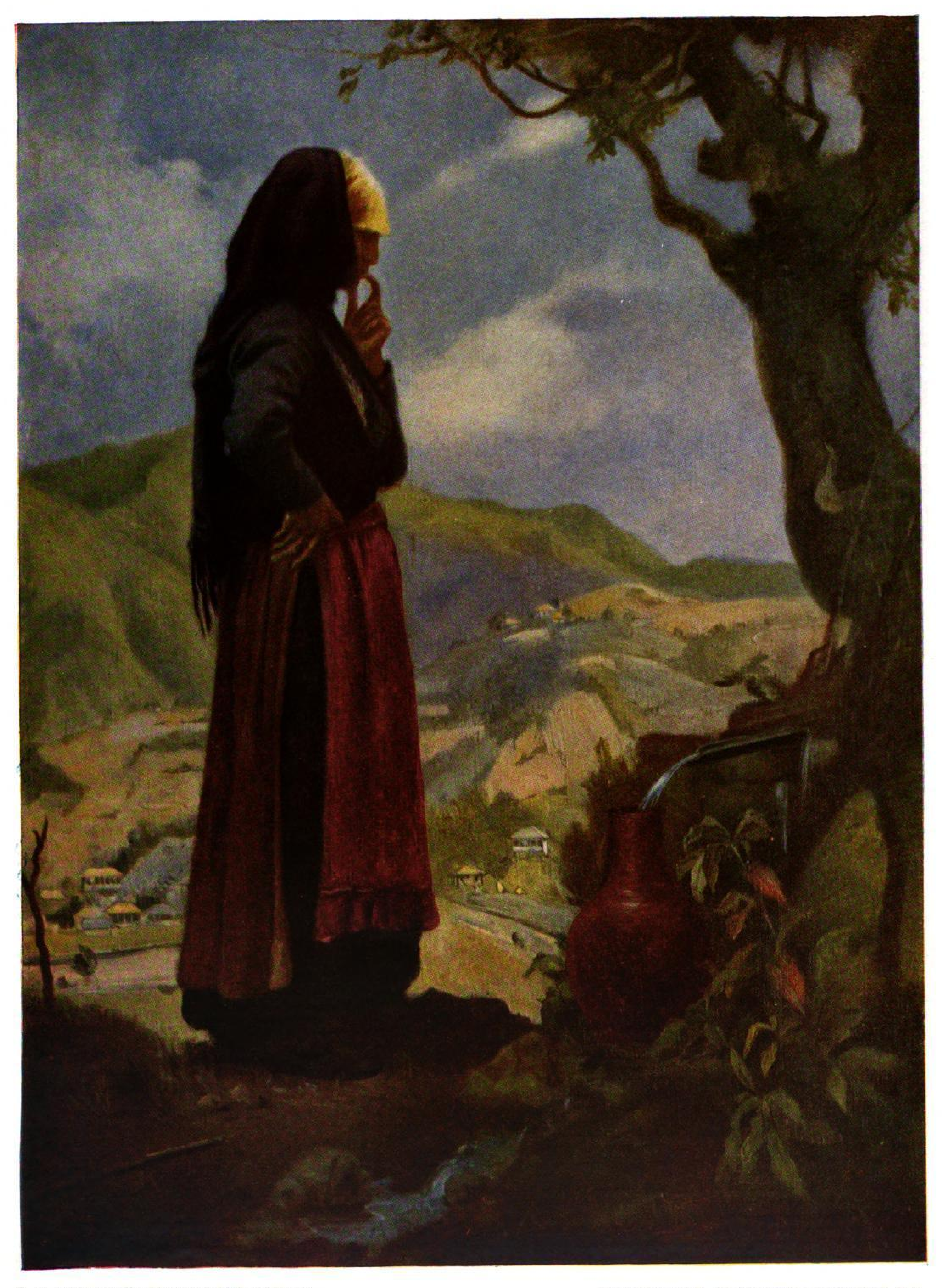
Среди работ русских художников в музее есть прекрасно выполненный портрет неизвестной грузинки В. А. Тропинина.

Тропинин главным образом создавал портреты, в которых всегда привлекала не только прекрасная техника, но и глубокое раскрытие характера.

Произведение известного мариниста И. К. Айвазовского «Оборона Севастополя» создано после возвращения его из осажденного города. Написанное под свежим впечатлением, оно наполнено суровой правдой жизни. Взволнованные ветром волны, тяжелая глубина моря, облака, расцвеченные косыми лучами солнца, пустынный скалистый берег создают тревожное настроение.

Пейзаж, воспроизведенный на нашей вкладке, принадлежит кисти выдающегося русского художника А. М. Васнецова, воспевающего величественную и милую природу родного края. Творчество этого художника сыграло значительную роль в развитии русской пейзажной живописи.

Н. АНДРЕЕВА



У. М. Джапаридзе. ДУМЫ МАТЕРИ (1945 год).

Государственный музей искусств Грузинской ССР.



В. А. Тропинин (1776—1857). ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ ГРУЗИНКИ.

Государственный музей искусств Грузинской ССР.

И. К. Айвазовский (1817—1900). ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ (1855).

Государственный музей искусств Грузинской ССР.

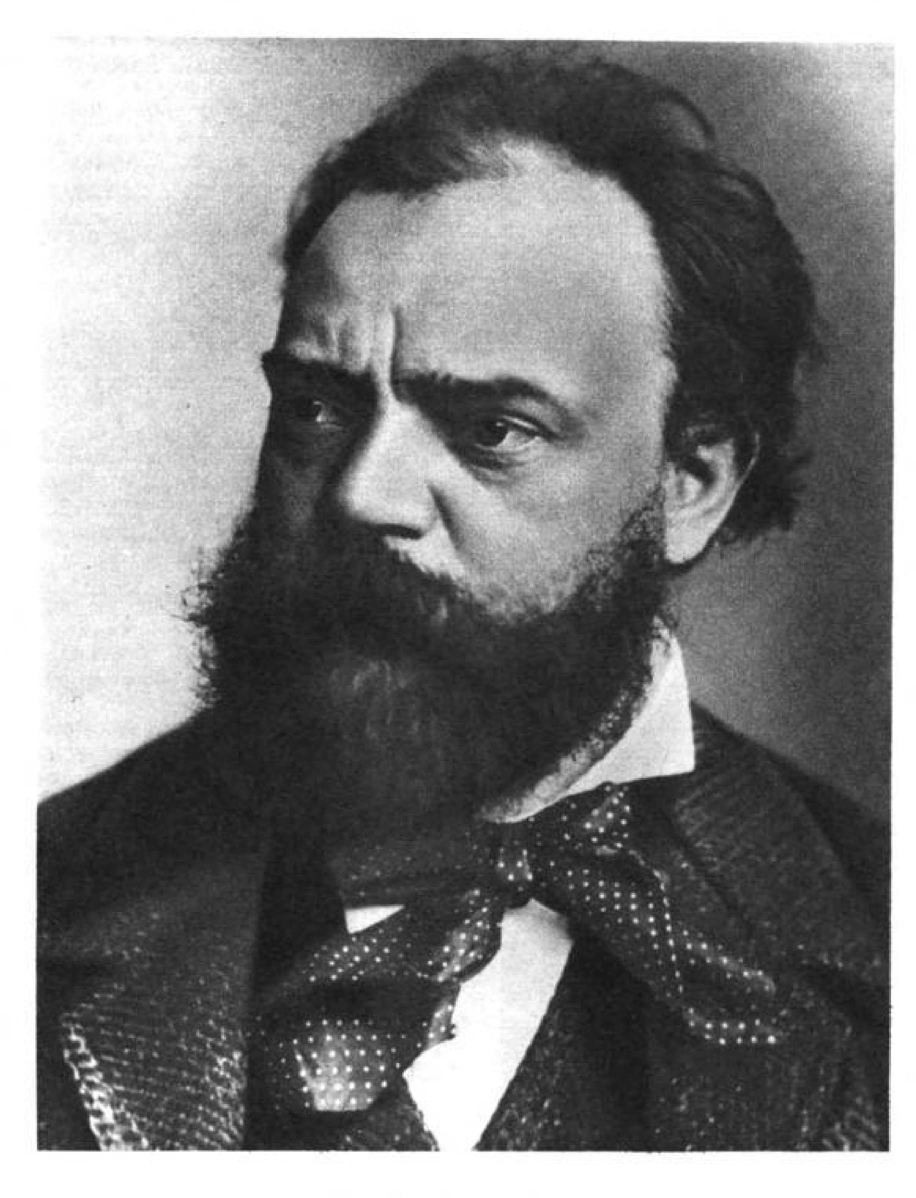
А. М. Васнецов (1856—1933). ПЕЙЗАЖ (1891).

ВЕЛИКИЙ ЧЕШСКИЙ КОМПОЗИТОР

Пятьдесят лет тому назад скончался Антонин Дворжак (1841—1904) — один из самых выдающихся представителей европейского музыкального творчества второй половины прошлого столетия и первых лет нынешнего века. Дворжак принадлежит к числу тех великих музыкантов, которые словно бы концентрируют в своих произведениях творческий гений целого народа. Как много ни знали бы мы о чехословацком народе, о его культуре, исторических судьбах, сведения эти будут страдать неполнотой, если нам останутся неизвестны произведения Сметаны и Дворжака! При всем сходстве художественных задач и идейной направленности творчества этих двух великих композиторов каждый из них имеет свое самостоятельное значение в развитии национального искусства Чехословакии.

Утверждая, что в творчестве Дворжака «пленяет непринужденная мелодичность, текущая из его неисчерпаемого богатого музыкального источника», известный чехословацкий музыковед Гельферт именно в этом видел важнейший вклад Дворжака в европейскую музыку: «Это не тип музыкального творца и завоевателя новых форм, а тип, который весь высказывается в своем стихийном мелодическом потоке». Это неполная оценка!

Гениальный мастер мелодического письма, Дворжак был и творцом новых форм. Блестящий симфонист, во всеоружии виртуозной композиторской техники, он проявляет себя как самый отважный новатор. В своей симфонии № 1 он смело вводит — вместо классического скерцо — чешский народный танец фуриант, полный огня и кипучей жизнерадостности. Смелое искание новых путей характеризует, собственно, все творчество Дворжака.



Антонин Дворжак.

Нельзя не оценить по достоинству наследие Дворжака — его симфонии, увертюры, из которых по крайней мере четыре: «Моя родина», «Гуситская», «Карнавал» и «Среди природы» — можно без преувеличения назвать гениальными, его великолепные инструментальные концерты, в том числе образцовые произведения этого рода: концерт для скрипки с оркестром ля минор и виолончельный концерт (опус 104).

Великое дарование Дворжака развивалось на почве старой и очень богатой национальной культуры. Издавна славились чешские музыкальные учителя даже в Италии, на протяжении столетий считавшейся музыкальным центром мира. Некоторые крупные чешские музыканты нашли свое второе отечество в России и среди них — Эдуард Направник и Вячеслав Сук. На основе богатейшей национальной музыкальной культуры и развивались гениальные творческие индивидуальности, подобные Сметане и Дворжаку.

Дворжак — симфонист по преимуществу. Как оперный композитор он имеет значение гораздо меньшее, хотя это вовсе не значит, что оперное наследие Дворжака незначительно или малоценно. Его «Русалку» сравнивают с «Проданной невестой» Сметаны, принадлежащей к числу немногих опер мирового репертуара. Много прекрасной музыки есть и в других операх Дворжака, в частности, в «Якобинце», в полной живого комизма опере «Черт и Кача» (часто называемой «Черт и дикая Кача»). В операх Дворжака (за малым исключением) кипит и бьет все тот же неиссякаемый, полный свежести, жизнеутверждающей силы источник народной поэзии, который питает собой и все творчество композитора в целом.

Но поистине великим драматическим поэтом Антонин Дворжак явился именно и прежде всего в своих инструментальных произведениях. Мы понимаем, почему подлинный взрыв энтузиазма, громадное воодушевление вызвало уже первое исполнение «Гуситской увертюры». Дело не только в том, что увертюра интонационно и тематически связана с гуситскими гимнами — боевыми песнями эпохи чешской реформации, которые знает каждый чехословацкий патриот. Главное то, что и в «Гуситской увертюре», и в увертюре «Моя родина», и в величественной оратории «Святая Людмила», в которой звучат напевы древних чешских гимнов, и в увертюре «Среди природы», и в гениальном фортепианном трио — все навеяно народной жизнью. Мы с наслаждением вслушиваемся в звуки симфонической поэмы «Среди природы» Дворжака, в изумительные по красоте и жизненности пейзажи родной страны, которую он, великий чародей, запечатлел в звуках. Здесь, да и во всем, что создано композитором, мы ощущаем жаркую, никогда не угасающую любовь к родной стране, к ее природе, к родному народу. И где бы ни странствовал великий чешский музыкальный поэт, как бы далеко от родины ни уносила его судьба, он остается верен своему народу. С 1892 по 1895 год Дворжак, слава которого к тому времени стала всемирной, был директором Нью-Йоркской консерватории, почетным доктором музыки Пражского и Кэмбриджского университетов. Кстати сказать, берет и мантию доктора Кэмбриджского университета носили лишь очень немногие знаменитые музыканты, в том числе и наш великий Чайковский.

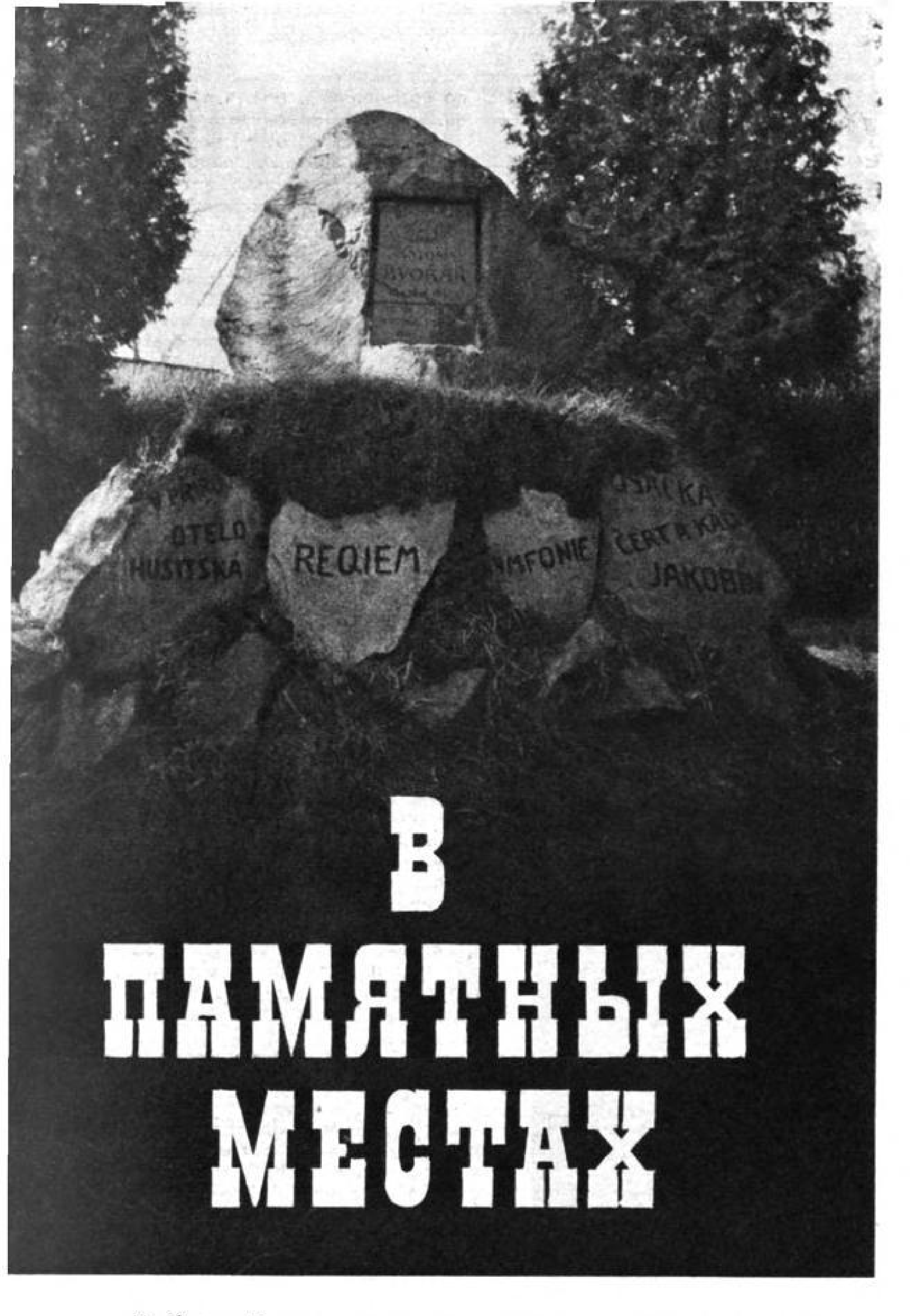
В бытность свою в Америке Дворжак создал одно из замечательных своих творений — симфонию № 5 ми минор, известную под названием «Из Нового Света». Интонации индейских и негритянских напевов звучат в музыкальной речи этой симфонии, тем более, что, как известно, вторая ее часть навеяна образами «Песни о Гайавате» Лонгфелло, очень любимой Дворжаком. Известно, что Дворжак с глубочайшей симпатией относился к неграм, жадно вслушивался в их песни, с которыми его знакомили негры — ученики композитора. Особое внимание, которое Дворжак уделял этим своим воспитанникам, послужило даже причиной нападок на него со стороны американских реакционеров. Вслушиваясь в звучание симфонии «Из Нового Света», мы убеждаемся, что и в этой симфонии Дворжак остается таким же национально-чешским поэтом, как и в знаменитых «Славянских танцах» и «Славянских рапсодиях», как в любом другом своем произведении. «Из Нового Света» — музыкальное повествование чешского гуманиста, это чешская музыкальная речь с начала и до конца, в этой симфонии Дворжака явно звучит тоска по родной стране.

Нельзя не отдать должного невероятной работоспособности, могучей воле и упорству Антонина Дворжака. В самых тяжелых жизненных условиях, терпя всяческие лишения, молодой музыкант неутомимо работал, уничтожая те из своих сочинений, которые не удовлетворяли его непримиримой взыскательности к себе. Зато, когда в 1872 году Дворжак предстал на суд своих соотечественников с патриотической песней-гимном «Наследники Белой горы», для смешанного хора и оркестра, наградой ему были поистине триумфальные овации, которыми жители Праги встретили нового национального гения. И не только жители Праги. Пришла мировая слава. Великий Лист и Иоганнес Брамс горячо поддерживают чешского мастера. Русская критика высоко оценила творчество Дворжака. В Западной Европе он также получил всеобщее признание.

В начале 90-х годов Дворжак посещает Россию по приглашению Чайковского, познакомившегося с ним во время пребывания в Праге в 1888 году. Оба знаменитых славянских композитора глубоко симпатизировали друг другу. Дворжак писал Чайковскому, познакомившись с оперой «Евгений Онегин»: «Это чудное сочинение, полное теплого чувства и поэзии... это музыка, манящая нас к себе и проникающая так глубоко в душу, что ее нельзя забыть».

Великий художник, страстный патриот и последовательный демократ, Дворжак много сделал для прославления национальной чешской культуры. И вот теперь, спустя полвека после его смерти, благодарную память о Дворжаке хранит не только народ Чехословакии, но и все другие народы мира.

В. ГОРОДИНСКИЙ



← Памятник Дворжаку в селе Высоком.

В памятных местах

На берегу Влтавы, на взгорье, раскинулся Нелагозевес. Здесь 8 сентября 1841 года в семье сидельца корчмы родился великий композитор Антонин Дворжак.

— А вот и сама корчма! — Сын композитора, его тоже зовут Антонин, показывает нам небольшой каменный дом. Здесь Антонин Дворжак-старший провел первые 12 лет своей жизни. В ту пору в корчму на вечерний огонек приходил трудовой люд на дружескую беседу за кружкой пива или потанцевать под самодеятельный оркестр. Не исключено, что Дворжак именно здесь впервые познал всю прелесть народных мелодий, впоследствии нашедших поэтическое отражение в его операх и симфонических поэмах.

Ныне в этом доме небольшой музей. Здесь среди других портрет Чайковского. На портрете собственноручная надпись Петра Ильича: «Моему дорогому и глубокоуважаемому другу Антонину Дворжаку от искреннего почитателя. Петр Чайковский. 20/II-1888 г.».



В Нелагозевесском замке-музее. Сын композитора инженер А. Дворжак показывает посетителям вазу — подарок композитора Э. Направника.

В замке Нелагозевеса, тоже ставшем музеем, хранятся семейные фотографии композитора, его курительные трубки, афиши, подарки, письма. В одном из писем он сообщает отцу о своем намерении ехать в Москву.

Инженер Дворжак снимает с высокой подставки вазу и показывает ее собеседникам:

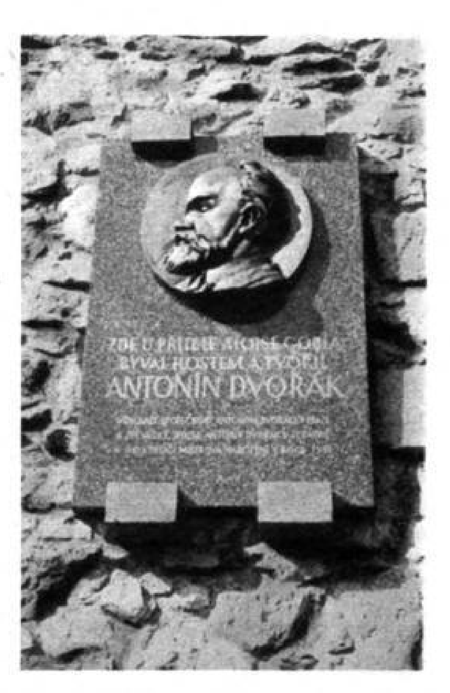
— Эту вазу отцу подарил Направник. У отца была большая дружба с русскими музыкантами...

Свидетельства горячей любви и уважения потомков встретишь всюду, где бывал Дворжак. В северной Чехии, недалеко от города Турнова, на возвышенности стоит Сыхровский замок. В одном из прилегающих к замку домов в свое время жил сельский учитель, любитель музыки и пения Алоиз Гебел. На стене дома — мемориальная доска: «Здесь у друга Алоиза Гебела бывал и творил Антонин Дворжак». В замке — музей. В одном из его залов, посвященных великому композитору, находится старенький рояль, а в часовне орган, на которых играли Гебел и Дворжак. В Сыхрове композитор написал свой знаменитый скрипичный концерт ля минор (опус 53). Многим советским людям он знаком,— концерт мастерски исполняет Д. Ойстрах. Стало традицией у стен замка в Сыхровском парке проводить музыкальные фестивали в честь Дворжака. В июне прошлого года на этом фестивале была исполнена опера «Якобинец», а в нынешнем году народ здесь увидит постановку дворжаковской «Русалки».

Природа родной страны всегда влекла к себе Дворжака. И вот в 80-х годах прошлого столетия композитор приобретает в Западной Чехии, недалеко от города Пржибрама, в селе Высоком «имение». Оно состояло из... большого амбара, который Дворжак перестроил под свое скромное жилье. В течение двадцати лет — с 1884 по 1904, то есть до последнего года своей жизни,— каждую весну сюда переселялся Дворжак, чтобы, общаясь с крестьянами и рудокопами, творить в сельской тиши.

Дети композитора все сохранили здесь так, как было при жизни их великого отца. В одной из комнат — пианино, письменный стол. За этим столом были написаны оперы «Русалка», «Черт и Кача», «Якобинец», «Армида», увертюры «Гуситская», «Отелло», «Карнавал», «Среди природы», цикл «Славянских танцев», «Реквием» и многие другие произведения, хорошо известные всему музыкальному миру. В укромных местах сада и за его оградой попрежнему стоят сколоченные из жердей садовые скамейки, на которых сиживал композитор. За каменной оградой — дорога, ведущая в лес, к озеру. Свою «Русалку» он написал здесь, и в память этого именьице названо «Русалка».

С 1877 года Антонин Дворжак поселился в Праге, в доме № 14 по улице Житна. Память об этом — мемориальная доска на стене и бюст композитора в нише. Здесь у Антонина Дворжака бывали Чайковский, Брамс, Сен-Санс.



Мемориальная доска на стене дома в Сыхрове.



Рабочий стол Дворжака в доме-музее «Русалка».

На Красноармейской площади в Праге находится Дом искусства, в котором помещаются филармония и консерватория — центр музыкальной жизни столицы Чехословакии. Здесь впервые исполнялись произведения Дворжака. В свое время он работал преподавателем консерватории, а потом и ее руководителем.

В консерватории учатся 700 человек — дети рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. О них заботится правительство, для них строятся общежития, им выплачивают стипендии. Нельзя не вспомнить о том, что Дворжаку, учившемуся в юности органной музыке, приходилось одновременно зарабатывать на жизнь.

...С группой студентов композиторского факультета мы побывали в музыкальном отделении Национального музея, где хранятся рукописи Антонина Дворжака. С волнением рассматривает их молодежь.

Музыка Дворжака вошла в жизнь и быт трудящихся Чехословакии. В Праге особенно часто устраиваются концерты из его произведений. Они привлекают множество слушателей.

И каждый день у могилы Дворжака, на Вышеградском кладбище, можно видеть: люди кладут на могильную плиту цветы — дар чистого сердца.

Мих. ЯРОВОЙ

Прага.

3.000 километров по Вьетнаму



Семья вьетнамского партизана.

Войцех ЖУКРОВСКИЙ

Рисунки Александра КОБЗДЭЯ.

Фото автора.

Рис — наш хлеб

Старик, встречавший нас у входа в пещеру, повесил над огнем закопченный котелок. Солдаты, подсаживаясь поближе к пламени, грели руки.

— Это старый революционер! — прошептал нам Ван Тань.— Он был на Пуло-Кондор больше пяти лет... Пуло-Кондор — это остров концлагерей, там смертельный климат, неведомые болезни... Много наших людей погибло на том острове...

Вход в пещеру заложен сцементированными камнями, закрыт бронированными воротами, привезенными из ближнего города. Внутри грота устроены стеллажи; тут склад риса. Собственно, это— одно из хранилищ Вьетнамского народного банка, так как «дзуонг», деньги Демократической Республики Вьетнам, обеспечиваются ее достоянием — рисом.

Мы залезаем на лежанки, сделанные из гофрированной жести, окрашенной зеленым лаком. Все это принесено сюда из разобранного города в долине.

— Да, мы вынуждены были сами разобрать некоторые наши города,— говорит Ван Тань.— Захватчики сбрасывали парашютистов. В каменных домах им удобнее было обороняться: каменный дом легко превратить в дот. А у нас не было пушек. Овладение городом всегда стоило нам большой крови. Едва мы освобождали его, как следовали массированные бомбежки. Тогда президент Хо призвал нас покинуть города...— Ван Тань говорил спокойно, как будто речь шла о простом и легком решении.— Французские захватчики лгут, что мы сделали это из «ненависти к цивилизации»! Лгут бесстыдно!.. Вы же знаете, как горячо мы жаждем строить, как завидуем вам и радуемся за вас, когда читаем сообщения о восстановлении Варшавы...

Нужна очень крепкая вера народа в свое будущее, подумал я, чтобы решиться на такую жертву! После того воззвания президента Хо Ши Мина прошло почти восемь долгих лет. Вьетнамский народ вышел из городов и переселился в джунгли, чтобы бороться за жизнь и свободу!

Засыпая, мы слышали, как тяжелые капли падают со свода. Мелодично позванивал жестяной бак, подставленный под капель. От камней тянуло холодом. За москитной сеткой тонко звенели комары.

...Проснулись мы очень рано. Солдаты еще спали, свернувшись калачиком и спрятав головы под тонкие одеяла. Мы вышли во двор.

Над нами нависала крутая стена известковой скалы. К ней прилепилась деревянная галерейка с балкончиком; там разместилась «канцелярия» старика: небольшой стол, бутылка с чернилами и бухгалтерская книга. Со скалы гирляндами свисали лианы.

Весь склон горы занимали джунгли. Там стояли огромные деревья, от самых корней заросшие буйной ползучей тропической растительностью — чаща, через которую невозможно пробраться. Внизу лежали рисовые поля, с которых вода была спущена; через них шла насыпь шоссе. Видно было, как по дороге движутся люди, неся на бамбуковых шестах какой-то груз, замаскированный зеленью. Одетые во все черное, они шли босиком. Несмотря на туманную пелену, которая висела в воздухе, солнце палило немилосердно.

— Возвращаются с рынка,— сказал нам молодой вьетнамец, охранявший склад.— Наш старик спозаранку пошел купить для вас провиант.

Мы с Олеком переглянулись. Что-то дрогнуло у меня в сердце... Старик уже спешил по тропинке, неся на бамбуковом шесте корзину с фруктами и клетку с петухами. За ним шли двое детей и три невысокие девушки, согнувшиеся под тяжестью какой-то клади. Девушки присели, снимая с плеч связанные по две корзины. Дети прильнули к старику, он угощал их апельсином и пучками мясистого салата.

— Это его внуки?

— Нет. Это такой обычай, введенный президентом Хо. Все дети считаются детьми каждого. Ведь у нас столько сирот!.. Родители идут на фронт, покидая малышей на многие месяцы... Они могут быть спокойны: ни один ребенок не останется голодным, никто его не обидит...

Девушки сдавали старику неочищенный рис: вносили налог. Они по очереди вошли в грот, таща свои тяжелые корзины.

— Много они сдают? — спросили мы.— Сколько это составляет по сравнению с тем, что взимали французские колонизаторы?

— Незначительную часть,— ответил Ван Тань,— мы ведь только готовимся к земельной реформе и пока разделили лишь поля сбежавших предателей и французских эксплуататоров... Крестьяне охотно сдают налог: они благодарны республике за новую жизнь.

— Ну, не каждый! — возразил молодой вьетнамец, охранявший склад.— Охотно сдают только бедняки, а богачи стараются укрыть зерно... Они тормозят сдачу налога. Но в каждом селении люди знают, кто и как живет. На собрании подробно обсуждают и определяют, сколько может заплатить такая-то семья...

— У вас на рис две цены: государственная и частная?

— Нет, одна! Для этого и организуются такие склады, как наш. Сюда складываем зерно, чтобы защитить рабочего от спекуляции. Заработная плата рабочим и служащим частично выплачивается рисом. Рис — наш хлеб. Голода у нас нет. Мы научили крестьян лучшему ведению хозяйства, дважды в год собираем урожай. До установления республики этого не было, по два урожая брали только в дельте, в самой плодородной части Вьетнама...

Олек Кобздэй уже давно рисовал, присев за камнем, на который положил альбом. Он набрасывал портрет самого молодого солдата из нашего «эскорта».

Песни в джунглях

К вечеру небо заволокло тучами. Внезапно полосу волнистых облаков посеребрил свет луны. В сумерки далеко на горизонте появились отблески пожара. Волнующееся красноватое зарево пульсировало на гребне горы, разливаясь все шире и шире.

— Что это? — обеспокоенно спросил я.

— Это наши горные жители, народность ман. Они выжигают джунгли и удобряют землю пеплом...— ответил Ван Тань.

— Это выглядит устрашающе для захватчиков! — сказал Олек.

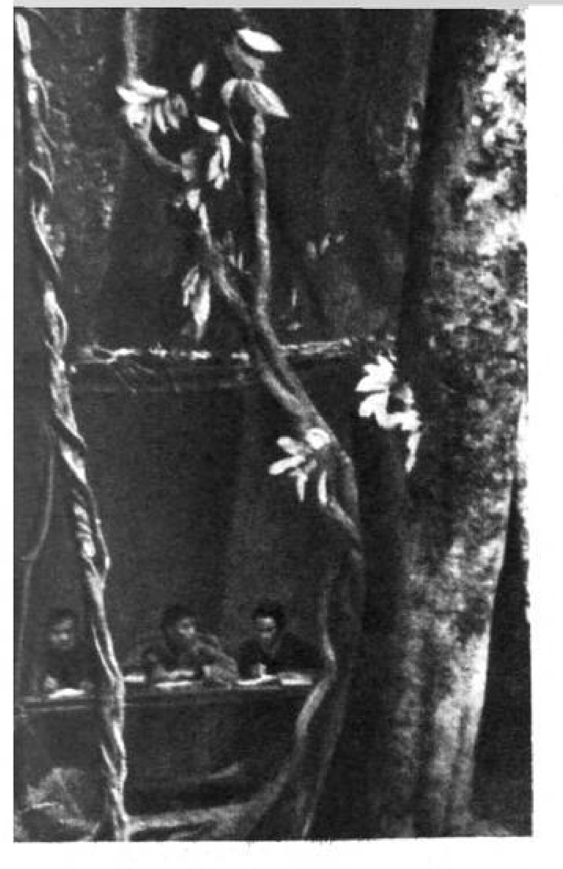
— Люди ман,— объяснил Ван Тань,— не покорились французским колонизаторам, и те не могли заставить их выполнять хоть какую-нибудь работу. Когда людей народности ман хватали, они становились какими-то каменными: ни слова, ни истязания, ни угрозы — ничто не действовало на них... Умирали, но не брали мотыги в руки! А ныне они добровольно спускаются с гор, чтобы чем только возможно служить родине...

Под деревьями проходили две босые девушки с пучками нарезанного молодого бамбука.

— Охотно нарисовал бы портреты этих девушек! — сказал Олек.

Ван Тань улыбнулся, что-то шепнул девушкам по-вьетнамски и подвел их к нам. Они поздоровались с нами, подали руки — несмело, по-крестьянски. Обращались они к нам с обычным словом — «братья».

Косы их были обернуты маленькими платками и скручены в валик над самым лбом, на руках тяжелые, кованные из серебра браслеты. У каждой к поясу прикреплены длинные самодельные ножи в деревянных ножнах.



Учреждение разместилось в щели скалы.

— Как тебя зовут, сестра? — спросил я у старшей.

— Трунг Тхи Фай...

— Это значит «Средняя чарка»,— перевел Ван Тань.— Ей всего семнадцать лет... Она говорит, что здесь веселее, чем в их одиноком доме там, в лесу, на горе... После работы наши транспортницы учатся, поют, устраивают игры... У них здесь много подружек...

— Попросите ее, чтобы она спела нам что-нибудь! — обратился я к Ван Таню.

Девушки о чем-то долго шептались, приглушенно посмеиваясь и бросая на нас смущенные взгляды.

— Она говорит, что знает только песни о любви...

— Очень хорошо! Пусть споет...

— Трунг Тхи Фай говорит: «Это новые слова, положенные на старый напев»...— перевел Ван Тань.— Раньше,— пояснил он,— родители выбирали сыну жену постарше, чтобы она могла хорошо работать на него... Когда муж достигал совершеннолетия, она уже была старой, и он брал другую... Теперь мы боремся с этим пережитком старины. Ныне у нас браки заключаются только по любви...

Девушка привстала, сплела за спиной руки, выпрямилась и запела чистым, звучным голосом:

День нашей свадьбы полон цветов!
Знамя над нами с яркой звездой.
С дарами спешит к нам в дом молодежь
И, руки сплетая, пляшет вкруг нас.
Брак свободный, брак по любви —
Мы с новой жизнью вступаем в союз!
Стройте, стройте счастье Отчизны,
Обильно в корзины сыплется рис!
Мы дети новой прекрасной поры,
Мы счастливей своих матерей:
Мы вступаем в брак по любви.
С новой жизнью вступаем в союз.

Тонкий голосок девушки поднимался и падал, привлекая все новых и новых слушателей. Около нас присел старый рабочий в берете и стеганой куртке, за ним притаился черноокий мальчик. Оба с любопытством поглядывали на рисующего Олека.

— Что ты тут делаешь? — спросил я мальчика.— Это твой отец? Ты пришел с ним?

— Нет! — смело ответил он.— Я такой же рабочий, как и он... Мне уже четырнадцать лет!

— Но ведь ты даже не поднимешь корзины с рисом.

— Мне дают разные другие работы... Я уже два года зарабатываю себе на хлеб! Получаю столько же, сколько и другие.

— А где твои родители?

Я тут же понял, что совершил ошибку: глаза мальчика заволокло слезами.

— Их разорвала американская бомба... Я пас буйволов, когда налетели самолеты. Когда вернулся в селение, то уже не было ни дома, ни отца, ни матери, ни обеих сестер... Только одна огромная яма, а в ней вода...

— До нашей революции,— сказал, закуривая сигарету, старый рабочий,— я батрачил в чужих хозяйствах... Очень хотелось мне получить хоть малый клочок своей земли. Вырубил я участок джунглей, выжег пни, выкорчевал остатки их... Долгая это работа, чтобы выровнять участок, обнести валом и пустить туда воду! Жирную землю приходилось копать на склоне горы, а потом мы с женой носили ее в корзинах на наш участок. Но и это поле, как потом оказалось, не принадлежало мне. Начальник нашего селения заставил меня платить налог и каждый год увеличивал его... Так и пришлось отдать землю.

Везут на фронт рис в повозках, запряженных буйволами.



Старик задумался и смолк, горестно покачав головой. Девушки пели тонкими голосами. Ван Тань переводил. Теперь звучала новая песнь:



Старый вьетнамец.

Течет, струится по полю вода.
Пляшет, как дети, молоденький рис.
Мы не боимся голода!
Холодная падает утром роса,
Но одежда наша крепка.
Что с нами сделает холод?
Полны корзины у нас на плечах:
Рис и оружье для наших солдат.
Новый год сулит нам победу!

— Это я сложил эту песню!..— оживился старый рабочий.— Когда человек поет, он забывает об усталости. Нельзя задумываться над тем, что ты промок, что дорога тяжела: такие мысли отнимают у человека силы.

— Война у вас затянулась...— прошептал я.

— Да. Но мы победим! Если даже на стенах казарм врага, в Ханое, в самом центре скопища оккупантов, появляются надписи «Мы всюду!», то это правда!.. В каждом селении, в каждой семье растут молодые бойцы.— Старик положил руку на голову мальчика.— Для нас свобода — это жизнь!.. Сейчас наше правительство призывает народ корчевать джунгли. Земля, отнятая у леса,— это моя земля, свободная от налогов. У меня есть свой рис. Когда-то горные жители, люди ман, ссорились с теми, что жили в долинах,— с людьми тхо. Французские колонизаторы разжигали эту вражду... А сегодня посмотри, брат мой: эти девушки из народа ман, я — из тхо, а этот мальчик — вьетнамец. Но все мы пришли сюда добровольно, ибо мы хотим отблагодарить родину за рис, за одежду, за поля, за учение... За все, чего мы раньше не имели!

...Олек как раз кончил рисовать и критически покачивал головой, рассматривая рисунок. Вьетнамцы подымали кулаки с выдвинутым вверх большим пальцем и говорили: «Тот лен!» — «Очень хорошо!»

— Умеете ли вы писать? — спросили мы присутствующих.

— Да! Революция научила нас...— хором ответили все.

— Тогда подпишитесь, пожалуйста, на этих рисунках.

Люди по очереди брали перо, писали свои имена и народность. Старый рабочий сложил новые стихи и написал их на обороте рисунка:

Хоть не видать мне солнца из-за туч,
Я все же чувствую его тепло.
Я не встречался с президентом Хо,
Но знаю: обо мне его забота тоже.
О брат, привет ему ты передай,
Скажи: мы с революцией родились вновь,
Она дала свободу нам и сытость.

Ван Хун Таи.

Старик медленно водил пером, старательно вычерчивая закругления подписи.

В городе Бак Кан

...Часов около одиннадцати вечера машина остановилась на перекрестке дорог.

— Мы находимся в городе Бак Кан...— сказал Ван Тань.— Хотите осмотреть его?

Повторять приглашение не пришлось: мы сразу выскочили из грузовика. На нас надели вьетнамские шлемы и набросили широкие куски непромокаемой парусины. Затем мы смешались с солдатами.



Селение в провинции Пхо Тхо.

Грузовик ушел: он должен был ожидать нас на другом конце города. Мы остались в темноте, еще ослепленные фарами отбывшей машины. Под ногами чувствовался разбитый асфальт. Моросил мелкий и редкий дождичек.

— А где же город? — наконец неуверенно спросил Олек.

— Здесь. По обе стороны от вас,— ответил Ван Тань, редкими вспышками фонарика выхватывая из темноты неясные очертания стен.

Мы оглянулись. Каменные ступени вели в несуществующий дом; среди наполовину разрушенного фундамента росли уже небольшие деревца и купы бамбука. Только теперь мы стали различать контуры домов: остатки стен, оплетенные лианами, распавшиеся оконные проемы, через которые торчали трехметровые, острые, как бритва, листья «тигровой травы».

— Там что-то светится! — сказал я.

Мы подошли поближе. На первом этаже притулилось подобие заезжего дома. Там вспыхивали длинные языки костра. Мы вошли. За наспех сбитым столом сидели возчики, они неторопливо ели па-

лочками макароны, доставая их из чашек. Двухколесные повозки стояли под деревьями.

— Спросите этих возчиков, издалека ли они едут,— шепнул я переводчику.

— Не ответят. Незнакомому человеку не скажут ничего. Это в интересах самозащиты. Есть приказ президента Хо о трех «нет»:



Старые сельские ворота. На них написаны лозунги против эксплуататоров-собственников.

не понимаю, не знаю, не слышал... Чтобы спросить их, я должен найти человека, которого они знают сами, который мог бы поручиться за меня. Это много дает для сохранения военной тайны. Недаром оккупанты бесятся, считая нас слепыми и глухими! Но и страшные истязания, которым захватчики подвергают наших патриотов, не развязывают им языки...

Люди с любопытством смотрели на нас, обменивались с нами приветствиями. Потом снова пододвинули повару свои мисочки за порцией густого супа.

— Они вас тоже ни о чем не спросят,— заметил Ван Тань.— Основное правило — «лучше не знать», ибо кто зря любопытствует, тот сам может проболтаться...

Мы направились дальше. В темноте мимо нас проходили женщины с детьми. Черные псы рычали на нас, но тотчас же отскакивали, едва их задевал свет фонарика. Проехали два велосипеда, сплошь обвешанные мешками и тюками. Груз был прикрыт мокрыми пальмовыми листьями.

— Транспортировка товаров в магазины...— пояснил нам Ван Тань.— Из складов, размещенных в гротах, из джунглей таким вот способом развозят товары по селениям...

Мы шли по разрушенным улицам. Мертвый город все больше подпадал под власть джунглей. В узком луче света я видел металлические фонарные столбы, уже оплетенные вьющимися растениями. Кое-где маячили огоньки. В городе еще теплилась жизнь.

Мимо нас прошел еще обоз; скрипели колеса повозок, степенно вышагивали буйволы.

...Город пройден. Машина набирает скорость, подпрыгивая на выбоинах. Долгая, тяжелая дорога. Солдаты спят с запрокинутыми головами. Внезапно слышим слова Ван Таня:

— Приехали.

В темноте к нам быстро приближаются огни. Какие-то люди несут лампы, распространяющие желтоватый расплывчатый свет, шумит ливень, такой ошеломляющий, что перед выходом из машины я растерянно останавливаюсь, словно мне предстоит нырнуть в озеро.

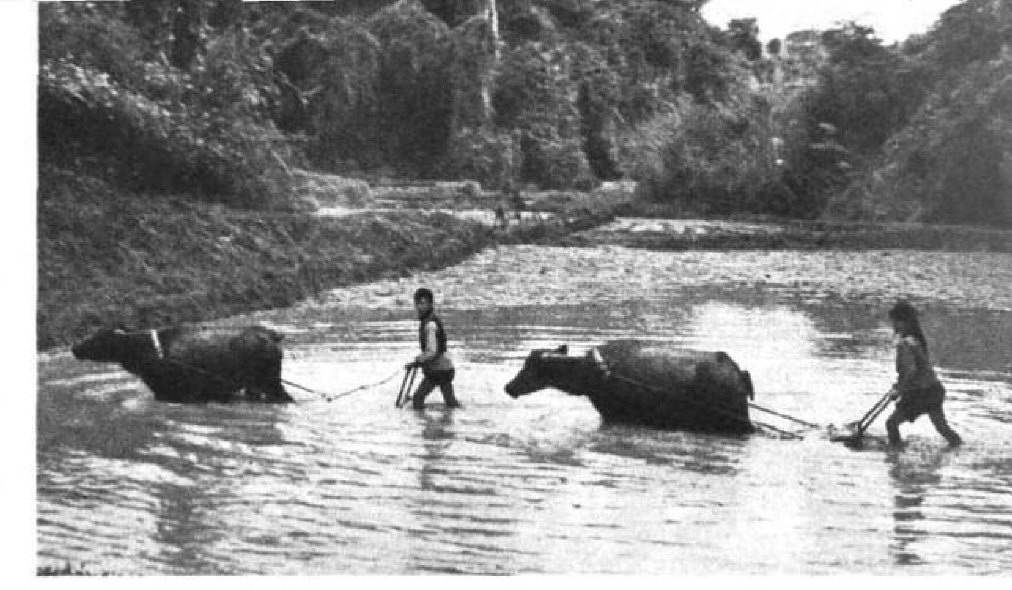
Впечатление такое, что разверзлись хляби небесные и оттуда просто валится на нас лавина воды. Нечем дышать. В одну секунду мы промокаем насквозь... Нас приветствуют на двух языках — вьетнамском и французском. Неясно маячат освещенные снизу лица. Крепко пожимаем мокрые, но горячие руки, отвечаем на бесчисленные вопросы о дороге, о состоянии здоровья...

Под навесом старого, покинутого святилища стоит несколько невысоких лошадок. Нам предлагают сесть в седла. Животные этим явно недовольны: они встают на дыбы, отчаянно ржут, брыкаются. Наконец, придерживаемые за морды и хвосты, они позволяют нам влезть на них.

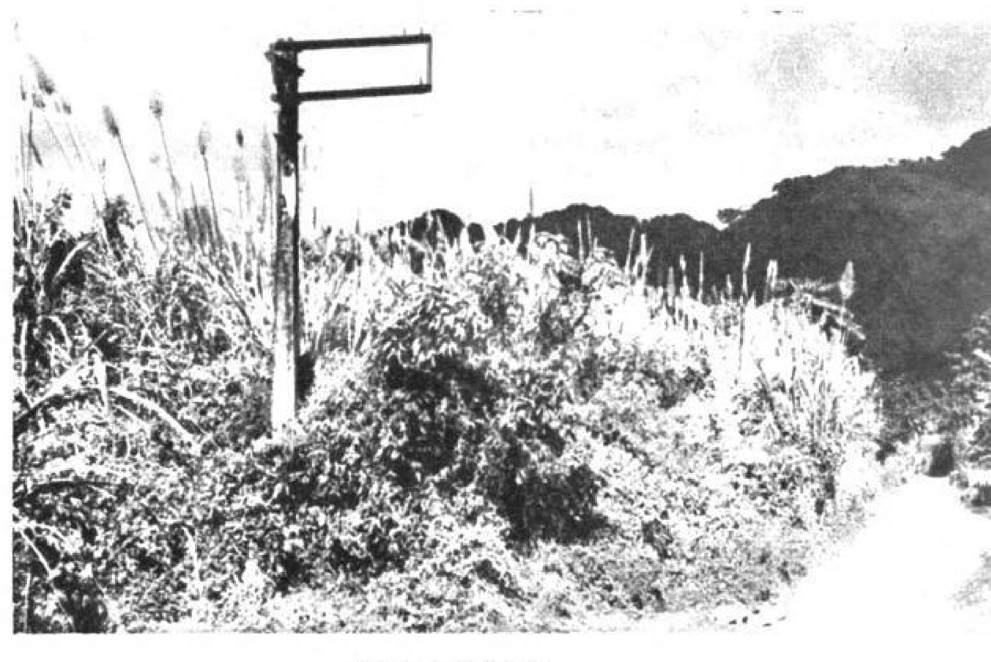
Ведомый под уздцы конь начинает упираться, но потом все-таки ступает на мостик из нескольких стволов бамбука. Ноги лошади то



Доставка продовольствия на велосипедах.



Пахота на рисовом поле.



Здесь был город...

и дело разъезжаются, я крепко держусь за луку седла. Мы едем зигзагами через поля и бамбуковые заросли. Что-то трещит под копытами лошадей, должно быть, куски опавшей коры: мы въезжаем в джунгли. Мокрые ветви бьют по лицу. Иногда мы спускаемся так круто, что конь почти на одних задних ногах съезжает по глинистому склону... Некоторое время идем по руслу речки, потом снова поднимаемся на высокий берег. Над нами гущина свисающих ветвей, рядом — черно-зеленый грот, внезапно выхваченный светом фонаря из темноты.

Мы блуждаем в путанице тропинок.

Солдаты, идущие впереди, освещают фонариками перекрестки, ищут след. А с неба попрежнему хлещет непрекращающийся ливень...

Наконец-то из темноты выплывает красноватый свет костра. Мы — у входа в хижину.

— Это здесь! — говорит запыхавшийся Ван Тань.— Отель «Централь»! — добавляет он шутливо.

На костре пылают четыре колоды. Стоят ширмочки из плетеного молодого бамбука, за ними — топчаны со свисающими противомоскитными сетками. На стене висит портрет Хо Ши Мина. Подходит представитель Центрального комитета Партии трудящихся Вьетнама и от имени партии и правительства приветствует нас. Оказывается, что президент Хо Ши Мин беспокоится о нас. Он велел немедленно позвонить ему по телефону и сообщить, в каком состоянии мы приехали.

Командир нашей охраны, который ничем внешне не отличается от остальных солдат, подходит попрощаться с нами. Ван Тань переводит его слова:

— Мне было приказано доставить вас живыми, здоровыми, способными к работе. Полагаю, что задание выполнено. Завтра я буду отчитываться за эту работу... Если у вас есть какие-либо замечания, то очень прошу вас: открыто скажите мне обо всем, чтобы я смог яснее рассказать о своих ошибках и недостатках...

В чем можно было упрекнуть его? Мы сердечно жмем руки всем сопровождающим нас, с которыми подружились за долгий путь. Солдаты исчезают в темноте, за сплошной завесой ливня. Крыша гудит от ударов воды, гдето неподалеку бурный поток воюет с камнями...

Ван Тань присаживается возле костра и срывает с ног опившихся кровью пиявок — кон вата. Мы глядим, как коричневатые червяки скручиваются, брошенные в огонь костра.

Нам представляют невысокого старичка в проволочных очках: это шеф-повар. Долгие расспросы о том, что мы любим, чего хотели бы покушать, в какое время привыкли принимать пищу. Затем подают горячий ароматный чай в термосах и торт с надписью: «Да здравствует мир!» Разумеется, от торта через минуту не остается и следа.

— Завтра предстоит прием у президента Хо Ши Мина! — напоминаю я.— Как мы будем добираться: вплавь, на лошадях или на плоту? — добавляю я в шутку.

Все смеются.



Возвращение хоккейной команды СССР из Швеции в Москву. В центре — капитан команды В. Бобров с кубком, полученным за победу на первенстве мира.



На первенстве мира по хоккею. Советские хоккеисты забивают шайбу в ворота канадской команды.

ЛАВРЫ ЭТОЙ ЗИМЫ

Этой зимой глянцевитые упругие листья лавра, растения, как известно, южного, можно было увидеть и на северном острове Японии, в Саппоро, и на высокогорном швейцарском катке Давоса, и под зимним небом шведского городка Эстерсунде. Лавровыми венками — символом славы — были увенчаны конькобежцы, а в двух других городах Швеции — Стокгольме и Фалуне — золотые медали получили сильнейшие в мире хоккеисты и лыжники.

Этими сильнейшими оказались советские спортсмены.

Еще никогда за всю историю зимних спортивных соревнований ни одной стране не удавалось добиваться такой полной, такой убедительной победы!

С какой радостью мы перечитывали скупые газетные информации, ловили радиосообщения, и в эти зимние дни каждый из нас чувствовал себя немножечко победителем.

Появление наших спортсменов на международной арене вызывает недовольство и тревогу у тех, кто пытается оградить СССР железным, непроницаемым занавесом.

Для многих иностранных специалистов в области спорта возможности советской спортивной молодежи были своего рода важным, неожиданным, а кое для кого и неприятным открытием. На XV олимпийских играх, где впервые участвовали советские спортсмены, команде США, несмотря на все усилия, не удалось по сумме очков оторваться от команды СССР. Не случайно после олимпийских игр крупнейшая спортивная организация США «Аматер атлетик юнион» начала подготовку к олимпиаде 1956 года под лозунгом: «На олимпийских играх в Мельбурне мы должны одержать победу над Россией».

Дело не только в том, что победы советских спортсменов многими расцениваются как удар по престижу буржуазного спорта. Нанесен удар, если так можно



Советские лыжницы — чемпионы мира (слева направо): М. Масленникова, Л. Козырева и В. Царева.

выразиться, по спортивной идеологии, издавна насаждавшейся многими руководителями и тренерами буржуазных спортивных клубов и ассоциаций.

Они считали вполне естественным, что напряженная борьба на соревнованиях между представителями разных стран вызывает конфликты, столкновения, вражду. Больше того, они немало приложили усилий для разжигания этой вражды. Но это им не удалось.

Четыре раза нынешней зимой советские конькобежцы одерживали победы над лучшими скороходами мира, какими считались норвежцы. И самым неприятным для некоторых бизнесменов от спорта было то, что, провожая русских скороходов, посетивших Осло, норвежцы называли их своими добрыми друзьями.

Спортивные репортеры, многое повидавшие на своем веку, были поражены грубым поведением канадцев на первенстве мира по хоккею с шайбой. Это поведение вызвало осуждение даже в буржуазной печати, противопоставившей ему корректную игру советских хоккеистов, победивших четырнадцатикратных чемпионов мира — хоккеистов Канады.

«Советский стиль должен стать европейским стилем» — так была названа статья в газете «Моргенбладет». «Мы, несомненно, — писала газета, — должны избрать такой стиль игры, а не тот, который практикуется за океаном... Русский стиль в недалеком будущем окончательно победит; для нас, не любящих грубостей в спорте, он подходит как нельзя лучше».

Таким образом, победы советского спорта заключаются не только в том, что наши спортсмены завоевывают первые места в крупнейших соревнованиях, устанавливают новые выдающиеся рекорды, но и в том, что широкие круги зарубежной общественности — сотни тысяч простых людей самых различных стран — все больше и больше убеждаются в превосходстве благородного русского стиля, стиля, который начинает задавать тон в международном спорте.

Горячие схватки, проведенные в разных частях света, не могли не сказаться самым благотворным образом и на росте мастерства наших спортсменов. С давних времен действует в спорте один непреложный закон: кто не проигрывает, тот не выигрывает. Встречи не со слабейшими, а с сильнейшими противниками приносят в конце концов желанную победу.

Наши легкоатлеты Леонид Щербаков и Юрий Литуев, впервые встретившись на олимпийских играх с сильнейшими противниками, уступили им первенство. Прошлым летом и Щербаков и Литуев установили мировые рекорды, отодвинув на вторые места тех, кто еще недавно возглавлял список лучших.

Мы помним, как еще несколько лет назад наши скороходы и лыжники неудачно выступили на международных соревнованиях. Прошло немного времени, и они добились подлинного триумфа. Вот почему мы верим в то, что и советские прыгуны на лыжах, хотя они и потерпели неудачу этой зимой на первенстве мира, наверстают упущенное, продолжая встречаться с лучшими прыгунами.

У наших спортсменов исчезла боязнь проигрыша (хотя, чего греха таить, проигрывать не очень-то приятно), и это во многом определило успехи прошедшей зимы. Рост мастерства советских спортсменов был настолько стремителен, что предсказания многих зарубежных «пророков» оказались опровергнутыми. Так, подводя итоги спортивной зимы, обозреватель агентства Рейтер Вернон Морган писал:

«Одним из самых примечательных явлений в спортивном мире является неожиданный успех русских, способных сейчас оспаривать первенство фактически во всех видах спорта, которым они начали уделять серьезное внимание. Они добились потрясающих успехов в области скоростного бега на коньках, до сих пор бывшего монополией норвежцев, и дали лыжника на длинные дистанции, который улучшил самый выдающийся скандинавский рекорд».

Датская газета «Нашональтиденде» спрашивает: «Не вызовут ли советские триумфы панику?» Вопрос вполне уместен. События этой спортивной зимы показывают, что американцы все чаще избегают встреч с нашими спортсменами. Они собирались участвовать на первенстве мира по конькам и хоккею, но раздумали, как только узнали, что советские спортсмены получают выездные визы в Японию и Швецию. Американцы в последний момент отказались от участия в 50-километровой лыжной гонке на первенство мира, хотя и подали заявки.

Хозяева американского спорта спасовали, и это, конечно, не могло пройти незамеченным в кругах широкой спортивной общественности.

Зарубежные наблюдатели все настойчивее пытаются открыть источник стремительных успехов спортсменов СССР. Высказывается много всяких догадок, бьющих на дешевую сенсацию; говорится о каком-то «тайном оружии СССР» в подготовке спортивных «звезд», о поисках «феноменов», которыми мы якобы занимаемся, но все чаще начинают звучать и здравые, серьезные голоса, объясняющие истинное происхождение наших побед.



Королевский кубок, врученный победителю гонки на 50 километров В. Кузину.

Господин Хофму — видный спортивный норвежский деятель. Он возглавляет отдел спорта министерства просвещения Норвегии. Пытаясь раскрыть «секрет» побед русских спортсменов, внимательно изучая наш опыт, присматриваясь к выступлениям советских мастеров, он писал в газете «Фрихетен»:

«Весь секрет заключается в том, что в СССР спорт является массовым... В этом и состоит тайное оружие СССР».

Секрета здесь действительно нет. Массовость — мощное оружие спортивного движения СССР. Мы всегда говорили: массовость — вот основное отличие советского спорта от буржуазного.



Большая золотая медаль, полученная советским лыжником В. Кузиным после победы на дистанции 50 километров на первенстве мира.

Герои прошедшей зимы не «звезды», не «феномены», а представители рядовых советских спортсменов, выдвинувшихся из народа.

Таков Борис Шилков — нынешний чемпион мира и Европы,— простой архангельский паренек, всего два года назад ставший известным после победы над сильнейшими скороходами страны. Таковы и Олег Гончаренко, занявший второе место на первенстве мира, и Евгений Гришин, оказавшийся третьим, и чемпион мира по конькам Лидия Селихова, и наши замечательные лыжницы, выигравшие первенство мира, Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева.

Многие люди Скандинавского полуострова, включив приемники в дни соревнований лыжников на первенство мира, слышали только одно имя: Кузин, Кузин, Кузин. Выиграв гонки на 30 и на 50 километров, он за несколько дней стал самым популярным человеком в Скандинавии.

Знакомства с новым «королем лыж» добивались многочисленные в Швеции любители спорта. Они задавали вопрос: как удалось никому не известному спортсмену победить сильнейших лыжников Финляндии? И вокруг Кузина начал создаваться ореол необычности. Его называли «сыном Ледовитого океана», спортсменом исключительных, феноменальных способностей. Кузин, как известно, действительно родился и вырос в маленькой архангельской деревне, в сорока километрах от Белого моря, но, несмотря на это, он никогда не претендовал на родство с Ледовитым океаном. Всего четыре года назад Владимир Кузин выиграл свою первую гонку на областных соревнованиях сельских спортсменов. В его истории все просто. И преимущество Кузина состоит в том, что он не одинок, что он окружен такими же сильными товарищами. Вспомним хотя бы Федора Терентьева, другого участника мирового первенства. Вернувшись из Швеции, Терентьев стал обладателем сразу трех золотых медалей чемпиона страны, выиграв гонки на 18, 30 и 50 километров.

...А когда друзья поздравляли победителей, вернувшихся домой, они слышали, что чемпионы больше говорят о будущем, чем о прошедшем.

Встречи с лучшими конькобежцами мира показали, что в Швеции и Финляндии появились два сильных скорохода и что норвежец Ялмар Андерсен тоже не сказал еще своего последнего слова. Значит, уже теперь надо готовиться к новым и очень ответственным спортивным схваткам. Советские лыжники, так же как и конькобежцы, знают, что почивать на лаврах рано. Еще отстают их «товарищи по оружию» — прыгуны с трамплина и слаломисты.

Закончилась зима, и уже выходят на спортивную арену многочисленные представители летних видов спорта. Как эстафету, они приняли от скороходов, лыжников и хоккеистов завоеванные победы, чтобы множить их на футбольных полях, беговых дорожках, в плавательных бассейнах, на дистанциях гребных и велосипедных гонок.

Уже начался большой футбольный сезон, заполнены первые графы в турнирных таблицах. И кто из нас не таит надежды, что мастера кожаного мяча этим летом порадуют нас не меньше, чем радовали зимой мастера резиновой шайбы! Футболистам предстоит ряд встреч с сильнейшими командами мира.

Легкая атлетика, один из прекраснейших видов спорта, получает в Советской стране все большее развитие, но мастера еще не очень радуют нас успехами. По-прежнему плохо выступают наши прыгуны в высоту, недостаточно быстро растет скорость спринтеров, все еще не овладели тактическим мастерством бегуны на средние дистанции, не могут похвалиться высокими достижениями многоборцы. Но важно одно: легкоатлеты упорно работают, не избегают встреч с сильными противниками, и в этом зародыш успеха.

Сто пятьдесят международных встреч предстоят нашим спортсменам в это лето. Гимнасты поедут в Италию на первенство мира, там же побывают и баскетболисты. Испытают свои силы в международных соревнованиях яхтсмены, конники, теннисисты, фехтовальщики — представители тех видов спорта, где мы еще пока отстаем. И как бы ни прошли эти встречи на зарубежных и отечественных стадионах, они все равно будут способствовать росту мастерства и дальнейшему расцвету физической культуры в СССР.



Золотая медаль чемпиона мира по хоккею с шайбой. Такие медали получили все члены советской команды, участвовавшие в розыгрыше первенства мира.

Наши успехи в международных соревнованиях показывают всем, что советская спортивная молодежь стоит на верном пути. Можно без преувеличения сказать, что этой зимой лаврами были увенчаны не только чемпионы мира, но и их многочисленные друзья и товарищи по спорту, в соревновании с которыми рождался успех в Саппоро, Фалуне, Давосе, Эстерсунде и Стокгольме.

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Играми на первенство СССР в стране начался большой футбольный сезон. Команда московского «Торпедо» встретилась в Харькове с командой местного «Локомотива».
Нынешним летом торпедовцы примут участие в ряде международных матчей. Они проведут игры с футбольными командами Германской Демократической Республики, Норвегии, Польши.



Зачетная книжка № 1605

ПО НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ

Эта книжка в ноябре 1912 года была выдана Дм. Фурманову, студенту славяно-русского отделения Московского университета.

Учиться в университете Фурманов мечтал давно. Осенью 1912 года, окончив реальное училище Кинешмы, он приезжает в Москву. Из-за недостатка мест на историко-филологическом факультете юноша был принят сначала на юридический.

Поселившись в общежитии на Малой Бронной, он страстно отдается учебе. Того, что ему удавалось заработать уроками, едва хватало на самое скромное существование, но Фурманов еще ухитрялся посылать деньги матери и иногда покупать книги.

Уже в те годы его тянуло к литературе. Наряду с первыми стихотворными опытами юноша пробует свои силы и в прозе. На втором курсе университета он пишет повесть «Луша», законченную им позднее, в 1918 году.

Политические взгляды Дм. Фурманова тогда еще не сформировались. Несколько лет спустя он вспоминал:

«Студент, взрослый человек, — а я и понятия не имел не только о каких-нибудь ликвидаторах, отзовистах и т. д., но и о социал-демократах слышал всего 2—3 раза — так только, слово услышу, а значения не понимаю...»



Страница зачетной книжки Д. А. Фурманова.

Осенью 1914 года Фурманов добровольно уезжает на фронт.

Только через семь лет ему вновь удается вернуться в университет. Летом 1921 года Фурманов приезжает в Москву. Его направляют на работу в Госиздат — редактором по современной художественной литературе.

Фурманова ни на минуту не покидает мысль продолжить свое образование, «овладеть тайнами науки, пополнить багаж — и уже тогда, может быть через 2—4 года, только тогда снова выступить на широкую арену общественной работы» (архив писателя, хранящийся в Институте мировой литературы имени А. М. Горького. Эта и все последующие цитаты публикуются впервые).

«Что будет в дальнейшем, — записывает там же, в дневнике, Фурманов, — я не знаю: может быть даже буду оставлен при университете, стану писать диссертацию, буду красным профессором. А если даже и не так — буду вольным литератором, литератором с основой, с багажом, с систематической научной подготовкой».

20 октября 1921 года Фурманов подает заявление в ЦК партии с просьбой отпустить его на учебу в МГУ. А через неделю он был зачислен студентом 2-го курса факультета общественных наук. В дневнике появляется запись:

«Студент, снова студент, красный советский студент! Я рад!.. Университет, прими меня в свои недра как друга!»

Видный публицист, секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей, редактор, корреспондент — вот каким предстает перед нами Дм. Фурманов в пору своего «второго» студенчества.

Писатель находил время и для участия в общественной жизни факультета. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в архиве Фурманова записи. Участвуя в работе одного совещания в университете, Фурманов заносит на бумагу мысль, возникшую у него, очевидно, по ходу собрания:

«Поставить практически вопрос об экскурсиях на фабрики, ставить там доклады, диспуты, и вовлекать рабочих в вопросы культуры, а самим — сближаться и не отрываться от фабрик, познавая их быт и воспроизводя его потом, особенно это касается писателей».

В последние годы учебы Фурманов публикует «Чапаева», «В восемнадцатом году», множество очерков, рассказов и статей, собирает материалы для повести «Мятеж».

В то же время писатель продолжает глубоко изучать русскую классическую литературу и искусство.

29 мая 1924 года Фурманов сдал последний университетский экзамен.

Э. САТИН

Словацкие повести и рассказы

Сборник словацких повестей и рассказов, выпущенный Гослитиздатом, знакомит советских читателей с малоизвестной у нас словацкой художественной прозой второй половины XIX — первой трети XX века. Включенные в сборник произведения в значительной своей части переведены на русский язык впервые.

В сборнике представлены наиболее выдающиеся писатели Словакии: Ян Калинчак, Светозар Гурбан-Ваянский, Мартин Кукучин, Тимрава, Йозеф Грегор-Тайовский, Янко Есенский, Петер Илемницкий. Всех этих писателей роднит реалистическое изображение окружающей их действительности, любовь к родине, горячее сочувствие своему угнетенному, страдающему народу. Перед нами проходят мрачные картины жизни словацкой деревни — жалкое, полуголодное существование крестьян, помещичий и чиновничий произвол, кабальная зависимость от кулака-ростовщика (рассказы Грегора-Тайовского: «Мацо Млеч», «Бабка Пуосткова», «Ради хлеба», повесть Мартина Кукучина «*Dies irae*», повесть Тимравы «Тяпаки»). В рассказах Петера Илемницкого показано превращение словацкого крестьянина в пролетария, пробуждение его сознательности, начало революционной борьбы («Возвращение», «Сквозняк», «Стеклодувы»). Быту дворянства XIX века посвящены сатирическая повесть основоположника словацкой реалистической литературы Яна Калинчака «Выборы» и повесть Светозара Гурбана-Ваянского «Летящие тени», рисующая разорение словацкого дворянства под влиянием возникающих в стране капиталистических отношений. Эта повесть рассказывает также о деятелях национально-освободительного движения — первых борцах за национальную культуру, против мадьяризации, проводившейся во второй половине XIX века в Австро-Венгрии.

Неудачно представлено в сборнике творчество одного из крупнейших писателей — народного художника Чехословакии Янко Есенского. Его небольшой юмористический рассказ «Пани Рафикова» из быта провинциальной буржуазии относится к раннему периоду творчества писателя. Второй же рассказ Янко Есенского, «Страх» — об интеллигенте, сошедшем с ума от страха перед гестапо, — вряд ли следовало предпочесть другим рассказам этого автора.

Книге, к сожалению, предпослано только краткое, двухстраничное предисловие «От издательства», представляющее собой развернутую аннотацию, не более того. Совершенно очевидно, что такого рода сборник требовал более основательной вступительной статьи, характеризующей как историческую обстановку, так и творчество каждого представленного писателя. Из-за того, что таких сведений нет ни в предисловии, ни в примечаниях, многое теряет, например, повесть Гурбана-Ваянского «Летящие тени».

Биографические справки об авторах, помещенные в конце сборника, слишком кратки и лаконичны. Нет и комментариев. Сноски в тексте носят случайный характер, их недостаточно, многое так и остается непонятным, а кое-что объясняется просто неверно. Например, слово «мендик» в сноске истолковано как «бедный ученик при протестантской церкви», хотя в действительности оно значит по-словацки «причетник», «дьячок».

Переводы, кроме одного, выполнены силами молодых переводчиков, впервые выступающих в печати. В принципе это неплохо, но издательству следовало помочь молодежи и привлечь к работе с ней квалифицированных переводчиков, хотя бы как редакторов. Переводы таких произведений, как «Выборы», «Летящие тени», безусловно, требуют большей легкости, живости и отточенности языка. Встречаются мелкие погрешности, которые ничего не стоило устранить при редактировании: «поддубники» (такого названия грибов в русском языке нет!), «скот заржал мне в лицо», «воюющая церковь» (вместо «воинствующая»), а «конфирмация» (первое причастие) переведена как... «введение»!

В. ЧЕШИХИНА

Словацкие повести и рассказы. Редактор-составитель Н. А. Кондрашов. Гослитиздат. М. 1953. 478 стр.



КОРОТКО О КНИГАХ

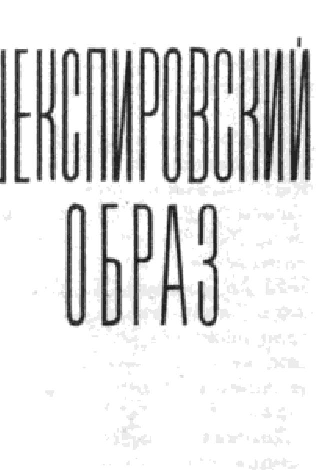
Государственное издательство детской литературы выпускает избранные произведения знаменитой украинской писательницы Леси Украинки.

Книгу иллюстрировали художники — братья В. и К. Лопало.

Публикуем несколько их рисунков.







Роль Отелло одна из самых любимых в творчестве народного артиста Советского Союза Николая Дмитриевича Мордвинова. Вот уже на протяжении десяти лет его Отелло живет полнокровной жизнью в постановке Театра имени Моссовета.

Мордвинова в роли Отелло видели за это время десятки, сотни тысяч зрителей — не только в СССР, но и в Варшаве, Софии, Бухаресте и других городах стран народной демократии, где побывал за последние годы Театр имени Моссовета. Образ мавра с его кристально чистой душой, его смелой устремленностью в будущее запечатлелся в сердцах русских, украинских, польских, болгарских, румынских зрителей. Роль не поблекла за истекшие годы, а, напротив, ее содержание еще более обогатилось. Понимание актером философского смысла трагедии Шекспира, духовного мира Отелло стало глубже и разностороннее. Артист показывает мавра носителем возвышенных, благородных идеалов.

Мордвинов начал работать над ролью Отелло не десять лет назад, а значительно раньше. Впервые он сыграл ее в Ростовском театре в 1939 году. Вторично обратился он к этой роли в Театре имени Моссовета в 1944 году.

Как и раньше, на первых спектаклях, зрителя властно захватывает поэтическое, вдохновенное изображение Мордвиновым чувства радости, счастья, которое испытывает Отелло в начальных сценах трагедии. Великое счастье — видеть Дездемону, любить ее, великая радость жизни наполняет все существо Отелло-Мордвинова. Благородство чернокожего полководца, его глубокое доверие к людям слышатся в монологе Отелло перед сенатом. Мы видим, как вера в жизнь, личное счастье умножают его силы. Ради любви, ради жизни отправляется генерал Отелло в новый поход. Единство лирического и героического в этих сценах спектакля — важное достижение актера в трактовке образа.

С самого дня премьеры исполнение Мордвиновым роли Отелло поражало стройностью, гармоничностью, продуманностью до малейших деталей внешнего рисунка роли. В то же время каждый спектакль на протяжении десяти лет был для актера как бы новым этапом в освоении внутреннего содержания образа, в понимании эволюции характера шекспировского героя. Свойственное Мордвинову-художнику романтически-приподнятое восприятие действительности помогло ему увидеть и понять подлинный, глубокий оптимизм трагедии Шекспира. О торжестве справедливости, о победе любви над пороком и злом, победе жизни — в ее широком и большом понимании — над смертью говорит в трактовке Мордвинова трагический финал спектакля.

Роль Отелло — одна из лучших в многогранном и разноплановом искусстве актера. Отелло Мордвинова — вместе с тем значительная веха в истории трагедии Шекспира на советской сцене.

А. ОБРАЗЦОВА



Народный артист СССР Н. Д. Мордвинов в роли Отелло.

Фото Е. Умнова.

ШТУРМ СТЕНЫ

В. АБАЛАКОВ,
заслуженный мастер спорта.

Фото **М. АНУФРИКОВА,**
заслуженного мастера спорта.

Более половины наших сухопутных границ опоясано горами. Чтобы освоить эти районы, нужно в совершенстве владеть альпинистской техникой, уверенно двигаться по любым маршрутам в любое время суток и в разные времена года.

Нередко слышишь, что непривычный человек в горах — обуза себе и другим, «ходячая опасность». Практика показала, что альпинизм — лучшая школа для жизни и работы в горных условиях.

Альпинисты страны совместно с геологами открывают залежи редких ископаемых, проводят труднейшие поисково-спасательные работы.

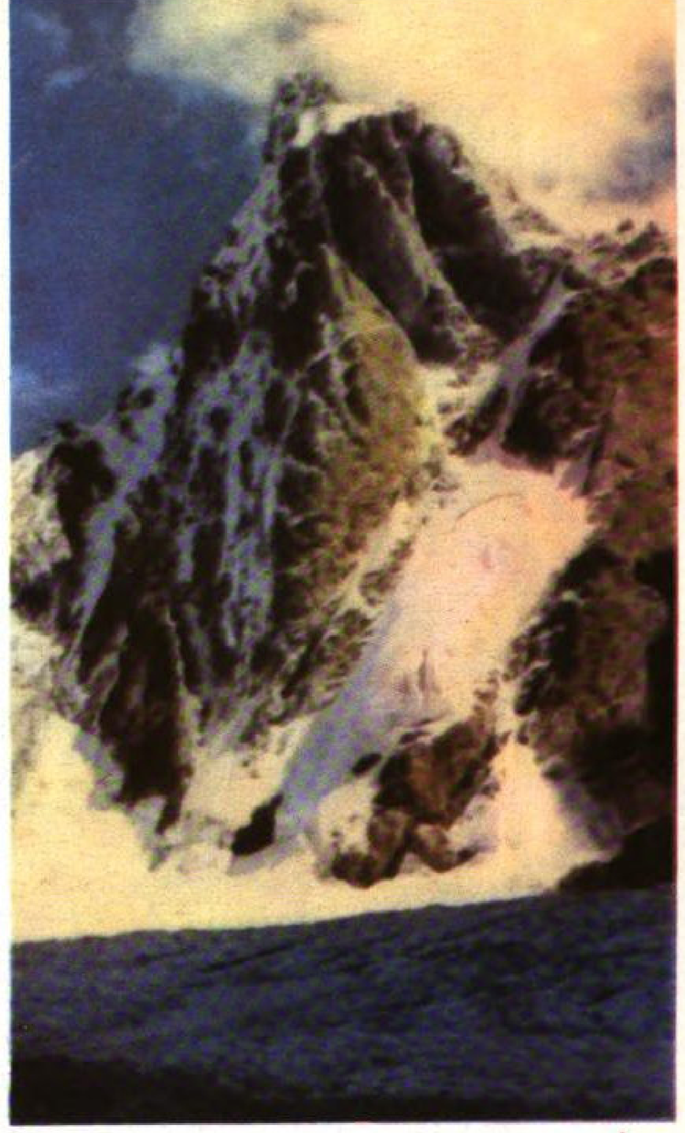
С каждым годом улучшается альпинистская техника, накапливается ценнейший опыт.

Летом 1953 года советскому альпинизму исполнилось тридцать лет. В честь этой знаменательной даты было совершено много трудных восхождений. Группа мастера спорта К. Кузьмина в условиях плохой погоды и исключительно сложного рельефа преодолела траверс всех вершин Безенгийского гребня (Кавказ). Группа мастера спорта А. Угарова поднялась на пик Е. Корженевской (Памир), наконец, шесть мастеров альпинизма под моим руководством совершили технически сложное восхождение по северо-восточной стене пика Щуровского (Центральный Кавказ).

Наша группа с особой тщательностью готовилась к предстоящему восхождению. Северо-восточная стена пика Щуровского во многом отлична от других северных стен. Она исключительно крута, местами отвесна и покрыта панцырем натечного льда. Весь день она находится в тени, только ранним утром лучи солнца освещают ее верхнюю часть — и то как будто лишь для того, чтобы вызвать падение ледяных сосулек, достигающих иногда колоссальных размеров. К этому прибавляются почти беспрерывные камнепады и каскады лавин.

Да, трудная перед нами стояла задача, и мы тщательно разведывали подходы, готовили альпинистское снаряжение: ледорубы-молотки особой конструкции, наборы разнообразных крюков.

...Три дня мы поднимались вверх, две ночи провели, привязывая себя к крюкам, вбитым в скальную стену. В горах бушевала пурга. Нелегко досталась нам победа, но тем она была радостней.



Северо-восточная стена пика Щуровского — это почти отвесный «стадион» длиною в километр, по которому вместо мячей летят внушительного размера камни, проносятся грозные снежные лавины. Бегун на дорожке стадиона развивает скорость до 9 метров в секунду. Наша команда, штурмуя стену, преодолевала в среднем 25 метров в час.

Студент Виктор Буслаев — молодой, но уже бывалый альпинист. Однако ему еще никогда не приходилось участвовать в таком сложном восхождении. Его страхует Лев Филимонов, кандидат технических наук.



Артисты

Рассказ

Вадим ЛУКАШЕВИЧ

Рисунки А. Каневского.

1

Я задержался в Потаповске.

Городок этот недавно был деревней; теперь здесь немало каменных домов, и на площади возле березовой рощи с церковью и остатками кладбища сложен штабелями белый кирпич.

Потаповск стоит на горке, и на три стороны за домами видны заснеженные поля да рыжие перелески; с четвертой — лепятся облака и доносится сипение пара: там станция.

Приближалась весна. Дни были безветренные, ослепительные, в полдень капало, а на припеке деревья и заборы приметно дышали теплом.

Через город проходит шоссе на Ярославль, и возле двух потаповских чайных всегда теснятся грузовики и лошаденки, запряженные в розвальни. Чайная артели инвалидов — каменная, приземистая, похожая на лабаз; чайная сельпо — бревенчатая, с высоким крыльцом и просторным залом, где на столах, покрытых клеенкой, стоят фикусы. Паренек в расстегнутом полушубке неторопливо хлебает щи.

— Что долго копаешься?! Иль не нравится?..— ревниво спрашивает повариха; румяная, в белой косынке, она выглянула из темной кухни через внутреннее окошко: живой портрет в широкой некрашеной раме.

На стойке под стеклом сохнут блюдца с закусками. Буфетчица отвешивает студень краснолицему шоферу. Мальчик лет пяти жмется у стойки.

— Ты чей будешь, парнишка? — Шофер нагибается.— Твой, что ли, Маруся?

— Мой! — улыбается буфетчица.— Никак дома не посидит: скучно одному-то!

— Как тебя звать, паренек? — весело спрашивает шофер.

Мальчик отворачивается, колупает пальцем стойку.

— Колька...— говорит он вполголоса.

— Ну, брат Колька, полагалось бы выпить со знакомством, да у тебя нос до стойки не дорос. Что ж делать?

— Я не знаю,— тихо говорит Колька.

— Давай-ка, Маруся, свесь нам конфет, вот хоть этих...

— Не надо! Ему одной хватит...

— Свесь, тебе говорят!

Шофер смотрит, как, улыбаясь, буфетчица взвешивает конфеты, и тихо спрашивает:

— А вечером ты что делаешь, Маруся?

— Вечером я занята,— отвечает буфетчица, глядя на весы.— Репетиция...

— Может, сходим в кино?

— Не могу! Говорю: репетиция.

Шофер вздыхает.

2

Гостиницы в Потаповске нет. Приезжие, одни раньше, другие позже, приходят к двухэтажному белому дому райпотребсоюза и долго стучат в обитую железом дверь; дом отзывается, как пустая бочка. Наконец прохожие советуют зайти со двора. Во дворе дом облеплен деревянными пристройками — клетями, кладовками, чуланами, сенцами, крытыми лестницами. На снегу сложены бочонки, ящики, поленницы дров. И нескоро еще человек, плутая из двери в дверь, спотыкаясь о пороги и ящики, попадает наверх, в жаркую комнату для приезжающих. Я живу здесь вторую неделю, привык к горячей печке, к перегородкам, оклеенным голубыми обоями, к двум высоким кроватям. Я знаю, что утро начинается стуком сброшенных дров и бормотаньем уборщицы. Работники райпотребсоюза приходят позднее. Я узнаю их голоса.

— Алешинское сельпо запаздывает...— говорит главный бухгалтер.— Не слыхал, что там у них?

— Да Пестрюков, счетовод, простыл, когда ловил рыбу; вроде бы воспаление в легких...

— Эх, бедняга! Много ли хоть поймал?

— То и горе, Иван Феофаныч, что не поймал ни черта.

— Тогда он с обиды заболел. Рыбак не простужается. Рыбак вроде моржа...

Молчат, щелкают счетами.

— А ты, Иван Феофаныч, ездил ловить?

— Все не выходит поехать... А уж хочется!

— Давай закатимся, а? У меня переночуем, чуть свет — на реку. У меня и мормышки имеются. А?

— Нынче не выйдет....

— Водочки, конечно, прихватим, чтоб не простыть вроде Пестрюкова. А? Поедем, Иван Феофаныч! Право, поедем...

— Не могу, брат: нынче у меня репетиция.



— Не пойму я тебя, Иван Феофаныч... Человек ты пожилой, уважаемый, семейный, а представляешь на сцене! К чему бы?

— Это, брат, долго рассказывать...

3

Искры сверкают в воздухе — снежная пыль. Возле магазина скрипят полозья, слышатся понукания, пахнет лошадьми и сеном. Колхозники уходят, бросив в дровнях покупки, тулупы. Лошаденки стоят, поджавшись, и выдыхают пар, будто курят.

В магазине полутемно: витрины заставлены товарами. Продавцов окликают:

— Гребенка дорога ль?

— Барышня! Вязенки, спрашиваю, есть?

— Сыщется ай нет лазоревая лента?

На продавщице поверх пальто надет тесный халат. Голова повязана теплым платком, вязенкой. Ни к кому не обращаясь, она называет цену гребенок, разных пуговиц, носовых платков, а сама тем временем достает ленты, и десятки рук тянутся потрогать. И еще успевает разговаривать с подругой; подруга легла животом на прилавок и что-то торопливо шепчет, краснея и восторгаясь.

— Понимаешь? — громко восклицает подруга.— Так и сказал!

— Напрасно доверяешься,— скороговоркой отвечает продавщица.— Рукавичек не будет, зайдите в среду. Лазоревых лент нету, имеются цвета перванш, васильковый, алый и бордо... И вообще он враль первого сорта. Напрасно ты уши развесила, Катя...

— И ничего я не развесила! — вспыхивает подруга.— А ты... Я знаю! Он тебе самой нравится, Шурка. И мы не слепые, видим.

— Подумаешь, добра-то! — презрительно усмехается продавщица и достает метр.— Вам, тетушка, сколько метров тесьмы? Нет, вышивальных ниток нету. Канвы нет. Может быть, получим. Говорю, потому что сочувствую, вот и все! Ему не впервой нашу сестру обманывать... Вам чулки какого размера?

Подруга нерешительно стоит у прилавка. Ее толкают.

— Ладно, Шурка! — говорит она примирительно.— Ты не сердись. Приходи вечером, поговорим... Ну, пожалуйста!

— Двадцать четыре пятьдесят, гражданка! Платите в кассу. Нет, Катя, нынче я не приду...

— Обиделась? — с укоризной спрашивает подруга.

— Есть рубашки поплиновые, зефир и патриот... Не обиделась, а не могу.

— Значит, обиделась! — безнадежно говорит подруга, и на ее небольших голубеньких глазках выступают слезы.

— Два с полтиной! — яростно кричит Шурка.— Да не канючь ты, Катька! Говорю нет, значит, нет. Нынче же репетиция... Да, да, два с полтиной! Платите в кассу, дядечка...

4

Солнце вошло в аптеку сквозь стеклянную дверь и пустые витрины. В аптеке все блистает: металлические поручни у прилавка, медицинские инструменты, стеклянные дверцы темных шкафов и на дверцах — змея и золотая чаша. В задних зеркальных стенках шкафов повторились полки с пестрой теснотой коробок, пузырьков и склянок, русый затылок девушки в белом халате, прилавок и весь сверкающий за витринами мартовский полдень. Смутные лекарственные запахи застоялись в комнате. От сверкания, опрятности, от нарядных коробок и фигурных склянок с духами возникает ощущение елочной мишуры и праздника; стесняясь этим, маленькая старушка в полушубке говорит вполголоса:

— «Сердце у вас здоровое»,— сказала врач. Я знаю, говорю, у меня все здоровое. Только руки болят, плечи...— Она тяжело вздыхает.— Это от работы... Молодая-то была, больше другой лошади одного сена перетаскивала. Бывало, еле поднимешь, а несешь... Восемьдесят годов, а я всего два года не работаю в поле, а то работала. Я ведь такая: и молодой не уважу в работе-то!

В окне, на самом припеке, пригревшись, заснул полосатый кот. Старушка оглядывается на кота и продолжает:

— Зубами маялась,— верно. А так не болела. Всего один раз и было, когда свекровь со свекром решили нас отделить: расстроилась я, заболела грудь... Пошла в Потапово к врачу: был тут молодой фельдшер Владимир Владимирыч. Он посмотрел меня, говорит: не расстраивайся — и болеть не будет. Дал пузырек с лекарством, велел пить по три хлёбальных ложки в день. Пришла домой, налила в ложку, понюхала: не могу эту пакость пить! «Эх,— думаю,— чего там; коли придется, пойду по миру; ходят другие молодые женщины, а чем я лучше?» Взяла пузырек — да об забор! Только всего и полечилась в жизни...

Старушка смеется. Улыбается и девушка.

— Чего же вам дать, бабушка?

— Давал мне доктор такое притирание от плеч: шибко помогает! А название запамятовала. И записка-то запропастилась, не сыщу. Дай-ко, думаю, так спрошу: авось, знают люди!

Старушка с надеждой смотрит на румяное юное лицо. Девушка прилежно думает, даже хмурит беленькие бровки.

— Разве дать вам, бабушка, салициловую мазь?

— Притирание, говорю, он мне давал.

— Это мазь, бабушка, от ревматизма.

— Так у меня не ревматизма, дочка. Говорю: от работы плечи болят. Машин-то прежде не было, все сами...

— Муравьиный спирт! — радостно восклицает девушка.— Дам я вам, бабушка, муравьиный спирт: натирайтесь на ночь и потеплей укутывайтесь.

— Вот-вот! Чтоб, значит, прогрело.

Уходя, старушка столкнулась в дверях с высоким юношей; юноша посторонился, придержал дверь, и оттого, что они замешкались, в аптеку проникает свежий уличный воздух: запахло разрезанным арбузом. Юноша высок и сутулится; уши на шапке плохо завязаны, висят врозь и на ходу вздрагивают. Он говорит «Здравствуйте!» девушке и коту, оглядывается и вдруг улыбается:

— Ты одна, Катенька?

— Не одна, а с Марфой Ивановной. Сейчас позову...

Широко ступая, юноша идет к прилавку. Сначала он освещен солнцем до пояса, потом по колени, и, наконец, только пятки пегих от грязи валенок остаются на свету.

— Неужели правду говорят, Катенька?

— Откуда мне знать, чего тебе говорят?!

— Значит, все-таки... выходишь замуж?

— Ах, вон про что! — девушка старается усмехнуться.— Все может быть, Федя... А тебе что ж, не нравится? И громко зовет: — Марфа Ивановна! Тут из больницы санитара прислали...

— Эх, Катенька...— начинает юноша и умолкает: пожилая женщина в белом халате входит и ласково говорит:

— А! Федя пришел... Ваш заказ готов. Зайди сюда.

Осторожно ступая, словно по мокрому, юноша уходит в заднюю комнату, а Катенька отворачивается и сердито смотрит на коробку с шалфеем. В зеркальной стенке шкафа видно, как она зажмуривается и проводит пальцем по ресницам.

Вскоре юноша выходит с корзиной, бережно покрытой марлей.

— Прощай, Катенька! — негромко говорит он.

Катенька не отвечает, печально глядит на коробки с шалфеем и черникой. Юноша уже открывает наружную дверь, когда в комнате появляется Марфа Ивановна.



— Так не забудь, Федя: сегодня репетиция! — говорит она вслед.
— Приду,— отвечает, не оборачиваясь, Федя.
— Не опаздывай!

5

Солнце село, и над снегами поднялась мутносиняя ночь. В небе прорезались звезды: блеснула искра и вдруг укрепилась, примерзла, замерцала в студеном воздухе.

Похолодало, пронзительно заскрипел снег, а у понурых лошаденок, еще стоящих возле чайных, возникли седые усы и бороды.

В Доме культуры лестница вела наверх, лестница была пустая и освещенная. Наверху, в маленькой прихожей, два мальчика, сталкиваясь шапками, считали деньги. У закрытой двери стояла мрачная женщина, обернутая шалью, как девочка, накрест. За дверью слышались автомобильные гудки и музыка.

— Ваш билет! — строго потребовала женщина.

Я вспомнил: в Ярославле повстречался мне человек из Потаповска; он назвал себя главным режиссером здешнего Дома культуры.

— Мне главного режиссера,— сказал я как мог солиднее,— Петрова!

— А у нас других нету...— усмехнулась женщина.— Один у нас режиссер: Петров... Никодим Алексеевич.— Она зевнула.— Он сейчас занят: репетиция. Теперь допоздна... Завтра зайдите.

— Вот на репетицию мне и надо!

Женщина колебалась.

— Ладно, сейчас позову! — сказала она, решившись.— Только поберегите дверь, чтоб эти не пролезли...

Она кивнула на мальчиков.

— Хорошо! — сказал я и придвинулся к двери.

Женщина ушла.

— Дяденька, а дяденька! — послышалось за моей спиной. Я обернулся.

— Все одно у нас денег недостанет,— честно признался мальчик.— Пустите нас так, дяденька! А?

— Пока тетя Даша не вернулась! — торопливо сказал другой.— А то она ни за что не пустит. Такая вредная, ух!

Я засмеялся и приоткрыл дверь:

— Идите! Только чтоб тихо...

Через минуту вернулась тетя Даша и подозрительно оглядела прихожую:

— А где ж мальчишки?

— Ушли! — ответил я беззаботно.— Что за радость торчать у запертой двери... Сами, небось, понимаете.

Вскоре вышел и режиссер.

— Кто меня спрашивает? — закричал он, хотя в прихожей были только я и тетя Даша.— А-а! Это вы! Идемте, идемте...

Он потащил меня во тьму зрительного зала; теперь автомобили гудели над самым ухом, и я вздрагивал: казалось, мы ночью перебегаем шоссе, по которому, потушив фары, несутся грузовики; оглушительно гремела музыка; в зале делалось то светлее, то темнее; я не смел поднять глаз на экран, чтоб не споткнуться. «Спасибо, дядя!» — шепотом сказала мне темнота.

Режиссер открыл какую-то дверь, мы вошли.

Репетировали в комнате за сценой. Здесь громоздились шкафы, трюмо, комоды, столы; овечьим стадом теснились стулья. Круглая, обернутая железом печь, похожая на пустой пьедестал, возвышалась у стены; железная толстая труба тянулась поперек комнаты.

— Вот в какой тесноте работаем! — с горечью сказал режиссер.— Шагнуть некуда. Мизансцены показать невозможно...

Его позвали, и он поспешно скрылся за дверью.

На стульях полулежал пожилой небритый человек в очках на длинном, унылом носу. Был он в растоптанных и подшитых валенках, в пальто с меховым воротником. При каждом его движении стулья гремели и разъезжались. Второй человек, светловолосый и молодой, в куртке с нашитой молнией связиста, сидел у шахматного столика. Раскрытая книга лежала перед ним.

— Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать...— прочел светловолосый и умолк.

Пожилой человек на стульях пошевелил валенком и неторопливо повторил:

— Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать...

Я узнал голос: это был Иван Феофаныч, бухгалтер райпотребсоюза... Говорил он лениво и притом окая, по-ярославски. Сказал, усмехнулся и так же медленно, будто раздумывая вслух, продолжал:

— А где он, этот досуг? Вот думал в воскресенье выучить роль, а хозяйка говорит: наколи дров на неделю...

Сказано было так, что, признаться, я не сразу разобрал, где кончились слова Подколесина и началась речь потаповского бухгалтера; бухгалтер и Подколесин сливались в одного человека; я слушал с удивлением.

Вскоре я понял, что за шахматным столиком сидит Кочкарев, а режиссер, который время от времени подсаживался ко мне и вполголоса «объяснял людей», сказал:

— Наш премьер, первый любовник. К сожалению, один на два города: работает техником связи на соседней станции, а живет в Потаповске. Играет на сцене и там и здесь. У девушек пользуется успехом не хуже тенора...

Со мной ласково поздоровалась Мария Николаевна, буфетчица из чайной. У нее была роль свахи. Продавщица из сельмага Шура Озорнова явилась в белом свитере, вылепившем из нее садовую статую. Она играла Агафью Тихоновну. Я слышал, как Агафья Тихоновна вполголоса сказала Кочкареву, и тон ее был зловещим:

— Ты Катьку перестань смущать, слышишь?

И тут же громко и кокетливо произнесла:

— Помилуйте, как можно, чтобы было странно — от вас все приятно слышать.

Репетиция разгоралась, как сырые дрова в печи: шипя, стреляя, чадя, угасая в клубах дыма и вспыхивая вновь. Режиссер то садился рядом со мной, вытирая губы скомканным платком, то вдруг срывался с воплем:

— Не так, не так, Шура! Разве женщина скажет так равнодушно? Подколесин ей нравится! Она скажет с кокетством, заигрывая: «Который покрепче пахнет-с: гвоздику-с».

— Так она ж, Никодим Алексеич, прикидывается скромницей! — возражала Озорнова.— Ей ведь, Никодим Алексеич, что называется, и хочется, и колется...

— И мама не велит! — добавил Кочкарев и засмеялся, показывая белые зубы.

— И совершенно зря вы, Шура, так объясняете характер Агафьи Тихоновны! — спорил режиссер.— Она, как говорится, уже засиделась в девках, они же сами сваху позвали. Ей надо завлечь жениха! Завлечь, а не испугать. Ведь это ж Подколесин! Он в окно с испуга выпрыгивает...

Режиссер был мал ростом и светловолос. На первый взгляд он казался молодым; позже вы замечали мелкие морщины, измявшие его лицо.

С опозданием пришел санитар Федя. Он вошел и смутился, а Марфа Ивановна укоризненно покачала головой. Федя стал было вполголоса оправдываться; его не слушали, махнули рукой и показали стул за печкой. Федя сел, озираясь и недоумевая. Марфа Ивановна играла Арину Пантелеймоновну и одна из всех твердо знала роль. Когда она не была занята в сцене, Марфа Ивановна поворачивалась спиной ко всем и будто сразу оказывалась в другой комнате, отсутствовала. Отвернувшись, она курила; синий дым окутывал ее полуседую голову.

Тем временем Кочкарев уговаривал Агафью Тихоновну топнуть ногой и сказать: «Пошли вон, дураки!»

— Как же можно так сказать? — отвечала Агафья Тихоновна, и все видели, что Шурка притворяется, а на самом деле здорово топает ножкой.

Я не понимал, как это происходит, потому что они оба все время были на глазах у всех, но я видел, что отношения Кочкарева и Шурки быстро меняются. Я слышал, как Шурка успела сказать вполголоса:

— Чем жениться на Катьке, купил бы теленка: дешевле, а в дому то же самое.

Другой раз я расслышал, как Агафья Тихоновна спросила у Кочкарева, что он делает в понедельник и не может ли поменяться дежурством. Шура говорила совсем разное вслух и вполголоса и не сбилась ни разу; у Кочкарева так не получалось. В конце концов он запутался и громогласно объявил, что дежурством поменяться трудно. Режиссер закричал плачущим голосом:

— Да что с вами сегодня, Аверьян? Я же суфлирую... И он повторил слова Кочкарева:— Почему же стыдно? Скажите, что еще молоды, и не хотите замуж.

Все засмеялись, и громче всех Шурка; Кочкарев покраснел, и только Федор ничего не заметил: он все время в задумчивости поглядывал на Кочкарева, словно хотел его рассмотреть и не решался.

Давно затих за дверью зрительный зал, было поздно, и все устали, а режиссер заставлял снова и снова повторять. Он был в отчаянии: в воскресенье предполагалась премьера. Наконец изнемог и он.

— Хватит, Никодим Алексеевич! — Иван Феофаныч решительно надел шапку.

— Одну минуту, товарищ! — отозвался охрипший режиссер.— Сейчас я раздам костюмы, чтоб вы успели приготовить, подогнать по росту или еще что...

Он приволок со сцены узлы, положил на стол. Все столпились вокруг, и в общем замешательстве Шурка сказала:

— Давай, Аверка, съездим в Москву, в Художественный! А? Вместе.

Режиссер роздал костюмы. Кочкареву достались цилиндр и голубой фрак; Федору, который играл отставного моряка Жевакина, подали странный мундир из зеленого настольного сукна с алым воротником и лампасами; пестрые ордена висели на мундире; Федор осмотрел их, качая недоверчиво головой.

Началась примерка. Режиссер спросил, найдутся ли у Кочкарева белые брюки и перчатки.

— Брюки-то есть...— сомневаясь, сказал Аверьян и посмотрел на свои стройные ноги.— Да чуток порвались... И постирать бы надо... А мне, кажется, выйдет дежурить в субботу.

— Давай постираю! — перебила Шурка.— И зачиню, если надобно.

— И вот еще: перчаток нет у меня.

— Нам привезли перчатки! — воскликнула Шурка. — Как раз подходящие, белые.

— Чего ж я стану покупать белые перчатки? — возразил Аверьян.— Я ж не милиционер!

— Да ладно! — Шурка махнула рукой.— Возьму на один вечер из магазина... Только смотри: порвешь или замараешь, заставлю купить.

Тут режиссер заговорил с ней о платье, и Шурка отвлеклась.

Кочкарев надел голубой фрак и цилиндр и теперь рассматривал себя в трюмо, поворачиваясь и красуясь. К нему подошел Федор в зеленом мундире и старых, пегих от грязи валенках.

— Жениться, значит, задумал, Аверьян? — глухо спросил он, глядя на голубые фалды.

— А что ж? — Аверьян усмехнулся в зеркало.— Чем я хуже Подколесина, чтоб не жениться?

— И скоро у вас свадьба? — Федор взглянул в зеркало, чтоб увидеть лицо Кочкарева, и переступил валенками.

Кочкарев украдкой оглянулся на Шурку.

— Ну, брат, об этом еще рано загадывать...— тихо ответил он.

Нерешительная улыбка появилась на бледном лице Федора:

— Отчего ж?

— Сначала невесту надо найти! — громко сказал Кочкарев.

Я заметил, что Агафья Тихоновна повернула голову.

— Как?! — радостное удивление изобразилось на лице Федора.

— Да вот так...

— А как же,— начал было Федор,— как же... Катенька?

Кочкарев, охорашиваясь, снисходительно усмехнулся:

— Ну разве Катенька — жена для меня?

Как раз все примолкли: рассматривали в подробностях костюмы, прикидывали, что надобно починить, а что можно оставить неисправным; только Шурка, казалось, прислушивалась. Внезапно в тишине послышался захлебывающийся, счастливый смех. Все оглянулись: смеялся Федор.

— Верка! — воскликнул он.— Да ты ж славный парень, Верка!

Он горячо облапил Кочкарева.

— Постой, постой! — запротестовал тот.— Да ну тебя, Федька! Не лезь! Вот, скажите, пожалуйста, какие нежности!..

И вытер ладонью щеку. Все засмеялись.

— Федя губ не красит, чего вытираешься? — заметила Мария Николаевна, сваха.

— А он по привычке...— отозвался Иван Феофаныч.

Шурка смотрела на Федора с любопытством.

— Эх, и везет же моей Катьке! — неожиданно сказала она и вздохнула.— Везет прямо как дурочке!..

...Уходили со свертками, с узелками. Режиссер на прощание умолял:

— Не потеряйте, товарищи! Оно, может, и стоит недорого, да не дадут другой раз костюмов. Особенно ты, Федя... Какой же ты нынче такой... восторженный!



6

В воскресенье в сельмаге раскупили не только тафтяные и атласные ленты-либерти, но даже ленты-мозаику, шотландку, бархатку и шляпный фай. Шурка смеялась, завертывая. Девушки стеной стояли возле парфюмерии и сетовали, что мало осталось.

— А вы, Шурочка, какой одеколон больше уважаете? — спрашивали они в сомнении.

— Какой покрепче пахнет-с: гвоздику-с! — отвечала Шурка и подмигивала.

Вскоре не осталось и гвоздики.

В домах торопливо стучали швейные машины, громыхали корыта, угарно пахли утюги. Девушки, набросив вязенки, перебегали из дома в дом, чтобы попросить ниток или совета.

Когда вечером в воскресенье я подошел к Дому культуры, внизу у лестницы стояли знакомые мальчишки; вид у них был грустный.

— Что, орлы, приуныли? — спросил я.— Тетя Даша обидела?

— Да-а, кабы только тетя Даша!..— возразили они самым безнадежным тоном.— Там еще Памятник!

— Какой памятник?

— Какой, какой!.. Один у нас Памятник. Стоит у самой двери.

Я вспомнил: по крайней молодости Потаповска в нем нет ни героев, ни исторических событий, ни памятников, что крайне огорчает жителей; и как раз там, где нужно бы стоять монументу — на площади возле исполкома,— дежурит милиционер.

В утешение себе жители прозвали Памятником милиционера Дубосекова — человека грузного, в усах. Дубосеков знал свое прозвище: он стоял величественный, неподвижный и старался пореже моргать.

— Худо,— сказал я.— Очень худо! Придется просить главного режиссера... Идите за мной!

Наверху рядом с тетей Дашей, на этот раз уже не обернутой шалью, действительно стоял Дубосеков. В самых дверях проверял билеты и суетился Петров. Меня он встретил, как давнего друга, и проводил в третий ряд. Неохотно, но все же пропустил он и мальчиков, взяв страшную клятву, что они лопнут, как мыльные пузыри, и еще провалятся сквозь пол, цемент и землю, если хоть пискнут или пошевелятся.

Передо мной сидела шуркина подруга Катенька из аптеки. Атласные ленты цвета созревшего апельсина были вплетены в катины косы; от девушки нестерпимо пахло гвоздикой; впрочем, гвоздикой пахло и слева и справа. То и дело из-за сцены появлялся Федор, подходил к Катеньке и, сияя, что-то вполголоса говорил; вокруг сразу умолкали, к ним поворачивались любопытные лица; Катенька краснела и опускала голову. Я слышал, как она ответила Федору:

— Никодим Алексеевич рассердится: ну, что ты все бегаешь в залу? У тебя там, на мундире, один орден плохо держится! Да ты сейчас пришей! Возьми у тети Даши иголку и пришей. Ступай, ступай!

Федор уходил, сияя и не замечая общего любопытства.

— Вот, право, какой! — негромко пожаловалась Катя.— Бегает и бегает, минуты не может побыть один!

— А самой нравится, что бегает! — смеясь, ответила соседка, и Катенька вспыхнула вновь.

Публика уже начинала томиться и бить в ладоши: то здесь, то там стали вскипать аплодисменты, а вскоре уже весь зал заклокотал и забурлил, как закипевшая ключом вода.

Наконец занавес раздвинулся, и перед зрителями предстал лежащий на деревянном коротком диванчике Подколесин; ему было неудобно лежать на боку, он поджимал длинные ноги; пестрый дамский халатик не прикрывал колен. Я похолодел. Иван Феофаныч был загримирован ярко, нарумянен, ему наклеили пышные черные бакенбарды, отчего лицо сделалось еще унылее и старше. Но с каждой минутой зритель все больше забывал и смешную обстановку и странную наружность человека. Иван Феофаныч и не старался прикинуться надворным советником, петербуржцем Подколесиным; нет, на сцене был ярославец, говорящий на «о», наш современник, которому в пожилые годы наскучила одинокая жизнь. Уже наступает для него человеческая осень; пугаясь, он ищет в зеркале первой седины и не хочет ей верить. «Да врешь, я посмотрю в зеркало,— где ты выдумала седой волос... Вот еще, боже сохрани! Это хуже, чем оспа.» — восклицает он в страхе. И от этого ощущения осени, холодка, уже проникающего в кровь, от тоскливого ожидания ненастья и недугов все острее делается жажда участия, ласки, теплой женской руки, на которую можно положить усталую голову. Но уже давно выдохлась в нем молодая опрометчивость, укоренились холостяцкие привычки, и оттого страшат перемены, быть может, и вправду к худшему... На ярко раскрашенном лице с нелепыми бакенбардами такой человеческой тоской засветились карие глаза, такими сердечными, растерянными, простыми нотами зазвучал голос, что зал вздохнул одной грудью, пошевелился и замер, словно бы опустел. И в смехе зрителей теперь зазвучало застенчивое и робкое участие.

Зато какого предвкушения были исполнены слова Ивана Феофаныча, когда он, самодовольно усмехаясь, говорил Кочкареву:

— А ведь в самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал (тут он примолк на мгновение, будто соображая или припоминая): мордашечка, таракашечка, чернушка...

Девичьи голоса ахнули в разных концах зала. «О, господи!» — взвизгнули позади меня. Хохот заглушил ответные слова Кочкарева.

Если б Аверьян не открывал рта, он был бы даже хорош: волосы стояли светлым коком, лицо свежее и нагловатое, голубой фрак ладно облегал стремительную его фигуру... Но Кочкарев говорил, и, к несчастью, много. Роль он врал в каждом слове; то запинался, не расслышав суфлера, то летел опрометью, торопясь досказать свою реплику; удивлялся некстати, негодовал фальшиво, опаздывал отвечать,— сквернее невозможно быть! Однако, по всей видимости, Аверьян был доволен собой...

Федор на сцене почему-то разговаривал сдавленным голосом, будто слова с трудом протискивались сквозь багровый воротник жевакинского мундира. Сначала, от неожиданности, это показалось смешным; позднее стало раздражать.

Зато Шурка была великолепна. В сцене гадания, где она не знает, кого из четырех ей выбрать, где она колеблется, и сомневается, и страшится перед решительным шагом, ей отозвались невольным смехом и невольными вздохами девушки в зрительном зале. И тут Шурка обмолвилась, сказала: «Ах, если бы вынуть Аверьяна!..» Я видел, как у сидевшей впереди Кати медленно покраснела шея: она заметила и что-то свое поняла.

А в другой сцене, едва проводив Ивана Феофаныча, Шурка стремительно лепетала, прижимая руки к груди и блаженно улыбаясь:

— Какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить!..— И совсем застеснявшись, признавалась: — Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться... Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке.

И всякому было видно, что она и в самом деле почти влюбилась в Подколесина, потому что девушке надо быть влюбленной, иначе замуж идти нехорошо, а замуж идти надобно. И вот она уже убедила сама себя, и восхитилась, и уже трепещет, горит, робеет, цветет маковым цветом перед ним, как перед Иваном-царевичем. И нет ей дела, что перед ней не царевич, а Подколесин в смешных бакенбардах, уже подержанный и траченный молью, говорящий полусмыслицу! И все девушки, какие были в зале, поняли Шурку, заволновались, засочувствовали. И, главное, ей вдруг поверили. Поверили и вполне убедились, что можно полюбить такого вот Подколесина. И не таким веселым сделался уже их смех.

А когда Яичница подступал к ней с решительным вопросом, «да или нет», Шурка и вовсе изменила Гоголю. Она сказала свое «Пошли вон!» не потому, что так подучил ее Кочкарев, а потому, что тут выглянул вдруг, приподняв личину, властный шуркин характер. Сказала, повернулась и неторопливо вышла, гордая и злая. Это уже Арина Пантелеймоновна и сваха потом выскакивали из двери, взглядывали на Яичницу, вскрикивали: «Ух, прибьет!» — и в смятении убегали... Так, конечно, не могла бы сказать воспитанная в купечестве Агафья Тихоновна.

И оттого вдруг поняли зрители последний испуг Подколесина: наверное, не сладко пришлось бы этому старому тюфяку в крепких

шуркиных руках. Пожалуй, и вправду, лучше ему, пока не поздно, бежать, хоть бы и в окошко, коли нету другого хода...

7

В комнате за сценой, где собрались взволнованные усталые артисты, аплодисменты слышались, как ливень, как грозовой проливень, который шумит по крыше, по деревьям, по земле, с каждым мгновеньем крепчая. Когда ливень становился неистовым, режиссер махал рукой, и артисты гуськом шли на сцену. Мы оставались одни в пустой комнате: я и Катя. И хотя казалось, что сильнее ливню быть невозможно, тут он еще усиливался, и невнятные крики восторга доносились к нам из зала. Катя не смотрела на меня, отворачивалась, беспокойно двигалась по комнате; она горела, как заря, то нежным, то багровым румянцем, бледнела и вспыхивала вновь. Смеясь и разговаривая, возвращались артисты.

Понемногу ливень начал слабеть и прерываться; несколько раз он вновь набирал силу, но уже не было в нем прежней радостной ярости; наконец он стих. Вскоре ночная тишина утвердилась в Доме культуры, и только здесь, в комнате за сценой, шумели возбужденные артисты.

— Наказала я своему Колюшке сидеть дома,— рассказывала, хохоча, Мария Николаевна,— а он, неслух, прибежал, пролез в залу... В антракт является и чуть не ревет. «Ты что?» — спрашиваю. «Ой, — говорит,— мамка! У тебя всегда теперь будет такой нос?!»

Надо сказать, что у свахи Феклы Ивановны был наклейной картонный нос башмачком, который разом придал ее лицу лукавство и развязность.

— Ну, как вам наши артисты? — снисходительно спросил меня Аверьян.

Я ответил горячими, от волнения бессвязными похвалами Агафье Тихоновне и Подколесину.

— А вы, Кочкарев, были невозможны!

— Сегодня Аверьян, как школьник, ехал на подсказке! — усмехнулся Иван Феофаныч.

Аверьян слегка растерялся.

— Мне пришлось поменяться дежурством...— сказал он, оправдываясь.— Не успел выучить...

— Опять, выходит, вы виноваты, Шура! — вполголоса заметил я.

— Почему?! — Шурка сделала удивленное лицо, но глаза у нее смеялись.

В комнату вошла тетя Даша.

— Я заперла двери, Никодим Алексеич! — громко сказала она.— Вы еще долго?

— А знаете, товарищи,— воскликнул я,— никто все равно не заснет!.. А по случаю премьеры полагался бы банкет!

Шурка взглянула на сваху:

— А ну, Маруся, решайся!

И так действительно всем не хотелось спать, что Мария Николаевна засмеялась и махнула рукой:

— Ладно! Раз такое дело, сама открою буфет!

Только Федор отказался наотрез.

— Не могу! — сказал он, прижимая большие руки к груди.— Ну, понимаете: не мо-гу! Может быть, после... Но только не обещаю...

И он покраснел.

— Да оставьте его! — вмешалась Шурка.— Иди, Федя, иди!

Иван Феофаныч тоже стал было отказываться.

— Вы холостые,— говорил он, улыбаясь,— а я человек семейный: жена, дети, кошка... Мне нельзя.

— Я тоже семейный, да вот иду! — возразил режиссер.

Шумной гурьбой мы вышли на морозную тихую улицу, под мерцающие цветные звезды. На крыльце чайной у Шурки произошло бурное объяснение с Катей.

— Неужели нету в тебе гордости?! — сказала ей Шурка.— И брось, пожалуйста, ревновать. Зачем тебе парень, который бегает за каждой юбкой? Такого на цепи надобно держать! Ты разве удержишь? Да ты с ним корки сухой не съешь: все со слезами... И не мечтай напрасно: не любил он тебя! Когда любят, тогда не отобьешь, уж я знаю...— Тут Шурка помрачнела, видно, припомнив что-то, и решительно отстранила Катю от дверей.— Сказано, не пущу! Ступай к Федьке... Вот он не Аверке чета! У Федьки хоть кожа и вроде рогожи, а душа насквозь светится. Не будь дурой!

И Катя покорилась, ушла.

Привыкший к похвалам Аверьян был в этот раз пристыжен, но оттого глядел на Шурку еще более томно: вот, мол, ради тебя поменялся дежурством и теперь подвергаюсь хуле и брани. Казалось, у них все уже было ясно, и понимали друг друга они с полуслова. На томность Аверьяна Шурка отзывалась снисходительной, чуть насмешливой улыбкой.

Пока Мария Николаевна отпирала буфет и хлопотала, мы продолжали разговаривать.

— Как вам не стыдно, Иван Феофаныч! — сказал я с почтительным укором.— При таком таланте вам бы на большую сцену. Даже в Москву!.. И Шуре тоже...

Иван Феофаныч усмехнулся.

— Вы думаете? — спросил он и помолчал.— Вот вы говорите, да, впрочем, я и сам знаю, что есть у меня талантишко. А сколько его, неведомо. И не ведая, должен я, по-вашему, тягаться на столичных подмостках с первыми артистами страны... Ну, а не выдюжу, тогда что?

Шурка вполуха слушала, что ей шептал Аверьян, и механически улыбалась ему; ее глаза смотрели на нас.

— А ведь все девяносто девять из ста, что не выдюжу,— продолжал Иван Феофаныч.— Но какое ж будет раздражение честолюбию и гордости?! Куда ж потом? В стакане утопиться, что ли? — И он показал на стаканы, которые Мария Николаевна уже успела наполнить.— Я решаю для себя иначе,— заключил Иван Феофаныч.— Не влезай на дерево, не упадешь.

— Ты не прав, Иван Феофаныч! — возразил режиссер.— Не прав, брат. Нет! Человек, обладающий талантом, обязан народу... Ты, брат, не птица-синица, которая чирикает на дереве по естественной, так сказать, потребности... Ты личность общественная, деятель!

— В Потаповске тоже народ хороший и в театре нуждается,— ответил Иван Феофаныч.— Так лучше я здесь буду в Качаловых, чем в Москве изображать шаги за сценой.

Тут все подняли стаканы, чокнулись и выпили, и разговор на минуту прервался.

— Видно, одного таланта мало, Иван Феофаныч! — продолжал режиссер, прожевав колбасу.— А надобно еще характер: упрямый и дерзкий. Русский народ — он талантами богатый. Да сколько этих талантов перепревает в людях, как наряды в сундуке, без применения. Вот хоть бы и ты теперь, как прежде выражались, любитель...

— Совести у тебя нету, Никодим Алексеевич! — возмутился бухгалтер.— Рыбак — это действительно я любитель. Но уж артист, извини, пожалуйста, природный!

— Но рольку и ты нетвердо знал, — усмехнулся режиссер. — Значит, как говорится, райпотребу время, а театру час. И выходит, что театр — тебе потеха, а не дело.

— А насчет райпотребсоюза, — ответил Иван Феофаныч, — так ведь бухгалтер я тоже не насильно, а по призванию. Просто: артист — моя вторая профессия. Говорят, при коммунизме у каждого будет две — три профессии...

— А по мне, пусть бы театр — первая профессия, а сельмаг — вторая, если уж надо, чтоб сельмаг... — неожиданно сказала Шура, и Аверьян замолк с открытым ртом, поняв, что она его не слушала.

Вскоре, попрощавшись, Иван Феофаныч и режиссер «ушли в семью», как они выразились; мы же остались допивать и договаривать: нас никто не ждал дома, а марусин Колька давно и сладко спал.

Шура подсела поближе ко мне; за ней, как на привязи, потянулся и Аверьян. Мария Николаевна то и дело отвлекала Аверьяна разговором.

— Так вы думаете, я смогла бы на большой сцене? — жадно спрашивала Шура и смотрела мне в глаза, испытывая и сомневаясь.

— Непременно смогли бы, Шурочка! — горячо отвечал я.— Вам бы поступить в театральную школу!..

— Поди, не примут... — недоверчиво сказала Шура, но глаза у нее засверкали.

— Почему не примут? Кого ж тогда принимать?

— Вы знаете, — доверительно сказала Шура, понижая голос, — прежде, еще в деревне, в Перепеловке, была одна девчонка, Наташка: до чего ж талантливая, ух! Когда она играла, даже парни ревели! Честное слово!.. И как уж к ней приставал один паренек из Москвы, зоотехник, чтоб она, значит, поехала в Москву учиться на артистку! Нет, не поехала, дура такая; вышла замуж за бригадира... Только подумать: поступилась талантом! И хоть было бы ради кого, а то парень — так, ничего особенного: сыроежка. Я тогда прямо почернела от злости да зависти. Кабы могла, задрала б подол этой Наташке да всыпала б досыта; драла б да приговаривала: а не ходи замуж! Учись! Не ходи замуж! Учись!

От страсти и гнева шурино лицо покрылось красными пятнами.

— А сами намереваетесь по наташиному примеру? — Я кивнул на Аверьяна.

Веселое недоумение изобразилось на шурином лице.

— А ведь и правда?! — Подумав, она спросила: — Так, значит, не надо?

Я пожал плечами:

— Не мне судить. Вы его любите...

Шура искоса взглянула на Аверьяна:

— Нравится, а не люблю. Невелико сокровище! Еще не хочу, чтоб он издевался над Катькой: она славная, только теленок, безответная.

Мы помолчали. Шура думала, то хмуря брови, то улыбаясь; Аверьян что-то рассказывал Марии Николаевне.

Внезапно Шура взглянула на меня смеющимися глазами:

— Так вы думаете, надо... в окошко? — спросила она. — Да?

И, не выдержав, звонко расхохоталась.

— Чего? Чего ты? — вскинулся встревоженный Аверьян.

— Да вот они советуют... — Шура показала на меня, — чтоб я сыграла Подколесина!

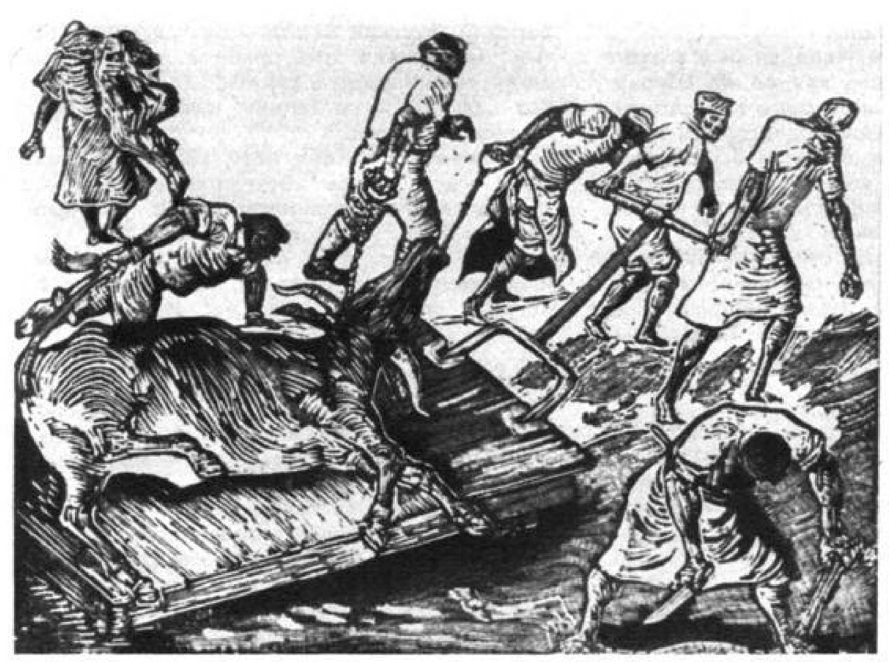
— Подколесина? Ты?! — в радостном изумлении вскричал захмелевший Аверьян и повалился от хохота на спинку стула.

Шура пристально глядела на него.

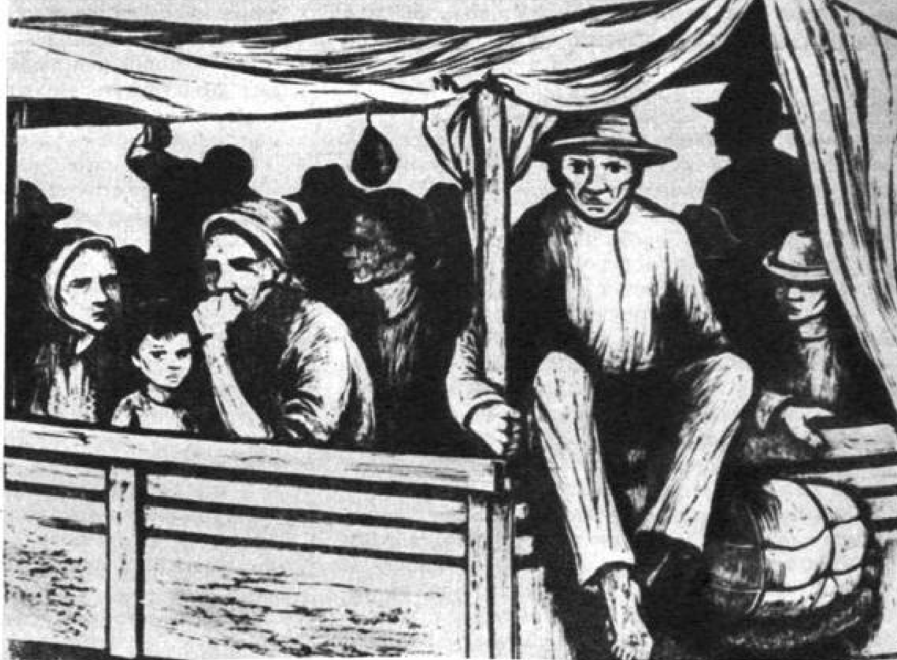
— А, ей богу, выпрыгну! — прошептала она, быстро нагнувшись ко мне.

И даже пожала руку, будто мы вступили в заговор.





Данубио Гонсальвес — НА БОЙНЕ.



Ренина Кац — В ПОИСКАХ ХЛЕБА.

СИЛА ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЫ

О. ВЕРЕЙСКИЙ

Регина Иоланда — ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС.

«В нас говорит пыл молодости и неугасимое желание идти вперед, а теперь, опираясь на поддержку народных масс и повышая идейный уровень, мы будем иметь возможность встать на прогрессивный путь и овладеть прогрессивным искусством».

Это слова молодого бразильского художника, посетившего недавно с группой своих товарищей Советский Союз. Гости привезли в дар Советскому Комитету защиты мира большую серию графических работ прогрессивных мастеров искусства Бразилии. Живым и выразительным, лаконичным языком рассказывают эти работы о быте, труде и борьбе бразильского народа за мир и национальную независимость. Стремление к миру пронизывает творчество прогрессивных художников, и поэтому их деятельность так не по душе правящим кругам Бразилии. На организованной ВОКСом встрече бразильских и советских художников Карлос Склиар рассказывал о состоянии изобразительного искусства Бразилии.

Абстрактное искусство, импортируемое из Соединенных Штатов, заполонило залы художественных салонов. Жюри выставок отклоняют реалистические произведения. Всеми способами вытравляется национальный дух в искусстве. Прогрессивные художники не получают заказов на монументальную скульптуру, росписи, фрески. Нет работы и у иллюстраторов: книжные издатели предпочитают выпускать книги без иллюстраций, повышающих и без того высокую стоимость книг.

Прогрессивные художники Бразилии понимают необходимость животворной связи искусства с народом своей страны. Их реалистические произведения, изображающие жизнь простого труженика — рабочего, крестьянина, скотовода,— находят живой отклик в сердцах трудящихся, отражая их мысли, чаяния и надежды.

«...Мы должны признать,— говорит художник Склиар,— что если в развитии нашего изобразительного искусства наметился поворот в сторону изображения народа и наше искусство становится более понятным народу, то это произошло под влиянием советского искусства, хотя оно до нас доходит с большими трудностями».

Но прогрессивное движение не может преуспевать, если его участники действуют разобщенно. Следуя примеру своих мексиканских собратьев по искусству, примеру группы мексиканских художников, возглавляемой Леопольдо Мендесом, чьи работы удостоены Международной премии мира, бразильские мастера ищут формы объединения, чтобы противопоставить свое творчество засилию формализма. Такими формами явились клубы, объединившие художников сначала в Порту-Алегри, а затем в Баже и Рио-де-Жанейро. Эти клубы пропагандируют и популяризируют творчество прогрессивных художников своей страны. Для этого они издают альбомы и серии гравюр, посвященные трудовой жизни народа Бразилии.



Васко Прадо — ГАУШО.

В клубах существует обязательное требование: издаваемые работы должны быть реалистическими. Вот почему эти организации художников Бразилии являются хорошей школой мастерства.

Работы художников-графиков Ренины Кац, посвятившей свое творчество отображению тяжкой доли крестьян Бразилии, и Данубио Гонсальвеса, посвященные труду рабочих на бойнях, удостоены премий бразильского Национального комитета борьбы за мир. Данубио Гонсальвес — автор многих выразительных плакатов, призывающих к борьбе за мир, против происков американского империализма.

Теме дружбы народов посвящена гравюра Регины Иоланды «Завтрак». На лесах строящегося дома завтракают в минуты короткого перерыва бразилец и негр. Ею же мастерски выполнен портрет вождя бразильской коммунистической партии Луиса Карлоса Престеса.

Многие художники, с чьими работами мы ознакомились, являются участниками изображаемых ими событий. Марио Грубер Корейа, уроженец города Сантус — одного из центров активной борьбы бразильских рабочих за свои права,— сам находился в рядах демонстрантов, сам был участником того столкновения с полицией, которое он изобразил в нескольких листах.

Правдой жизни проникнуты работы Карлоса Склиара и Васко Прадо. Карлос Склиар — активный участник движения борцов за мир, один из организаторов клуба художников в Порту-Алегри. Склиаром выполнена серия иллюстраций к роману Жоржи Амаду «Красные всходы», в котором писатель рассказывает о страданиях крестьян северо-восточной Бразилии. Склиар работает и над плакатом.

Привлекают внимание энергичные рисунки Васко Прадо, выполненные в скупой технике гравюры. Героями его произведений являются гаушо — скотоводы. Это не романтические ковбои из авантюрных фильмов, легко преодолевающие любые трудности. Это образы, взятые из жизни. В фигурах этих людей — отпечаток их сурового быта и труда.

Виденные нами рисунки бразильских графиков не равноценны по мастерству: в некоторых заметны еще следы влияния абстрактного искусства. Но можно с уверенностью сказать, что в их творчестве наметился резкий поворот к реализму. Когда художник исходит из интересов народа, когда его творчество опирается на реальную окружающую действительность, а не на отвлеченные формальные приемы, когда темой произведений мастера становится жизнь народа,— тогда его искусство превращается в могучее средство борьбы за мир, за счастье народа.



Карлос Манкусо — ДЕВУШКА.



Регина Иоланда — ЗАВТРАК.

Карлос Склиар — ОТДЫХ.



Весеннее

* * *

Вскрылись реки,
Бегут потоки,
До каймы горизонта видны.
Сад цветущий — парус высокий —
Забелел под ветрами весны.
А она, после первого ливня,
В синь вплетая лучей желтизну,
Поле зеленью вышила дивно
Для Отчизны —
Во всю ширину.

Ни конца нет просторам, ни края...
Ты попробуй, касатка,
Слетай,
Начиная свой путь от Дуная,
К дорогим землякам на Алтай!

Ты увидишь долины и реки,
Степь и горы крутые вдали...
Наше сердце вместило навеки
Неоглядные шири земли.

Не с того ль широки мы душою,
Дети дружной, единой семьи!
Строя крепкое счастье, большое,
Засеваем мы земли свои.

Ты красуйся, весна, над лесами,
Над полями в лучистом тепле!
Поднимайтесь, сады, парусами.
...Хорошо сеять хлеб на земле!

Микола НАГНИБЕДА

Перевела с украинского
Вера ЗВЯГИНЦЕВА.

* * *

Еще вчера пургой мела
зима по улицам села.
Сегодня ветер дышит влагой
и отступили холода.
Уже играет по оврагам
ручьями талая вода.
Ей завтра вспененным потоком
нестись к далеким берегам,
чтобы назад электротоком
вернуться к нам по проводам.

Евгений ГОРБАНЬ

* * *

Светлая зелень — на зелени темной,
Косы березок в густом дубняке.
Признак весны в этой прелести тона,
В первом воздушном зеленом дымке.

Встань под весенним сквозным
небосклоном,—
Сколько живых переливов кругом!
Сколько зеленых оттенков в зеленом,
Сколько тонов голубых в голубом!

Сколько оттенков!
Зима их не знала...
Что ни минута, меняется свет...

В сердце их тоже должно быть немало,
Это беда, если в сердце их нет.

Осип КОЛЫЧЕВ

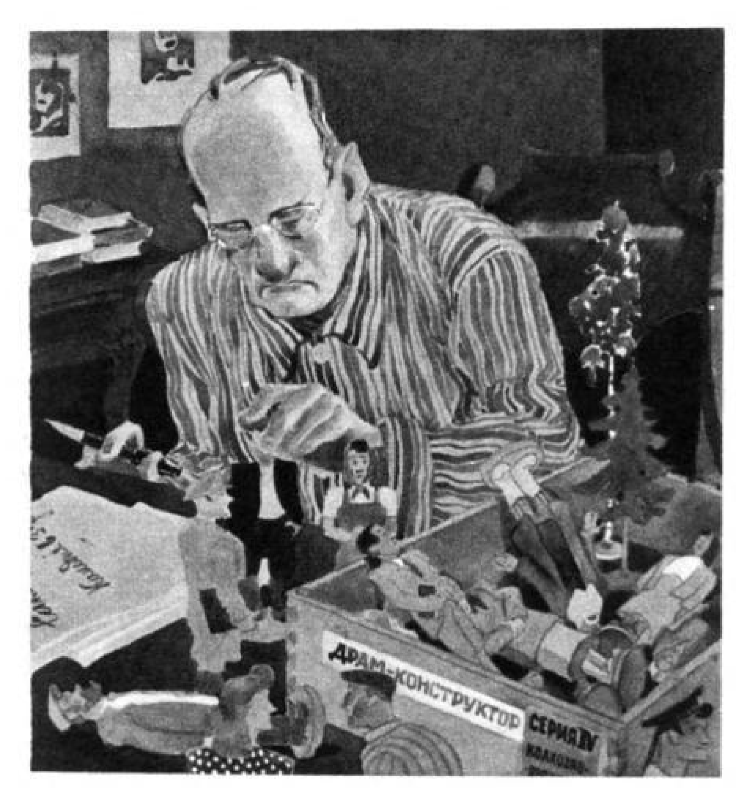
* * *

В небесной синеве безбрежной
Следил я жаворонка лёт
И слушал, как светло и нежно,
В лучах купаясь, он поет.

Вдруг смолкнув, он летит стрелою
К земле, теряя высоту...
Чтó небо для него пустое,
Когда под ним земля в цвету!

Вениамин ИВАНОВ

Перевел с марийского
Э. ЛЕВОНТИН.



ДРАМОДЕЛ: — Говорят, нужно ездить, изучать жизнь... А зачем? Она у меня вся как на ладони!

Рисунок К. Елисеева.

Лисица в верше

В морозное солнечное утро колхозный ночной сторож Андрей Скворцов опустил старую вершу, скрепленную тонкой медной проволокой, в прорубь пруда. Идя домой и, видимо, заранее радуясь предстоящему обильному улову, Скворцов бормотал:

— Хорош карась в сметане, говорили у нас в ресторане.

Вершу удалось посмотреть только к концу дня.

— Есть и на нашу честь!— сказал сторож, услышав трепыхание карасей.

Положив вершу набок, Андрей стал доставать карасей, какие покрупнее. Вдруг с молочной фермы его позвал бригадир.

— Дядя Андрей! Иди скорей-й! Дело важное-е-е!..

Положив свой улов в фартук, сторож побежал на ферму, оставив вершу с мелкими карасями на льду. Занявшись делами, он так и забыл о ней.

Утром, когда Андрей завтракал, в хату прибежали два запыхавшихся ученика и, перебивая друг друга, рассказали:

— Дядя Андрей! В середину... твоей верши... залезла лисица, только хвост торчит... она им вертит, как пропеллером!..

Накинув на плечи телогрейку, сторож с ребятами побежал на пруд. На льду лежала верша, а из нее торчали две лапы лисицы да длинный пушистый хвост. Услышав разговор, лисица стала быстро скользить лапами по льду, видимо, пытаясь вместе с вершой убежать от людей. Она вертела хвостом, как крылом ветряной мельницы.

— Ну! Рыбачка! Покушала карасиков — и хватит. Теперь пойдем ко мне. Рассчитаешься своей шубой за наших колхозных курочек...— сказал дядя Андрей, поднимая на плечо вершу с лисицей.

Н. НИКОЛЬСКИЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ЖЕОДА ЛИМОНИТА

Около входа в здание геологоразведочного факультета Свердловского горного института имени Вахрушева стоит огромная жеода лимонита. В минералогии жеодами называются шарообразные или эллипсоидные тела, часто пустые внутри. Лимонит — бурый железняк.

Жеода из бакальского железорудного месторождения — эллипсоидная, 230 сантиметров высоты и 195 сантиметров ширины.

Часть жеоды отбита, и пустота вскрыта. Внутри ее могут поместиться три человека.

Эта жеода лимонита самая крупная в мире.

Н. РОЗИНА

г. Свердловск.



Фото Я. Кунина.

МОЛОДОЙ МАЛЯР

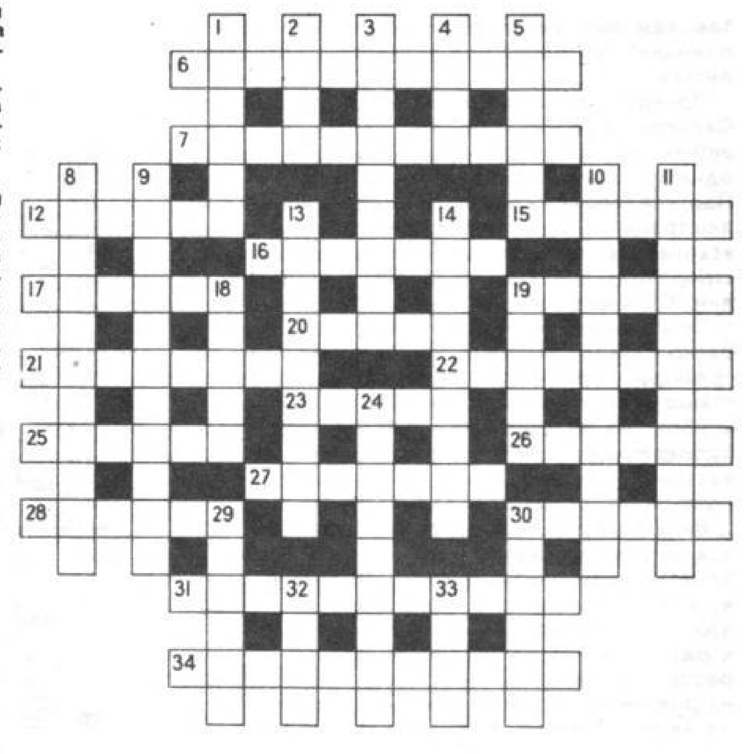
Ремешком подтянут ловко,
Кисть добротная в руке.
И сверкает лакировка
На тисненом козырьке.
Подмигнул столяр Герасим:
— Ты б веснушки смыл со щек.
— Подрастем, потом закрасим,—
Улыбнулся паренек.

Голубой разводит колер,
Красит школу по весне.
Голубеет небо в школе,
Краска блещет на стене.
Стал он с кистью на минуту,
Маляру глядеть смешно:
Краску с небом перепутав,
Воробей влетел в окно,
Будто он попался в клетку,
Заметался, как в огне.
Воробьиную жилетку
Отпечатал на стене...

Федор БЕЛКИН

В этом номере на вкладках: репродукции картин Г. И. Габашвили «Портрет старого грузина», У. М. Джапаридзе «Думы матери», В. А. Тропинина «Портрет неизвестной грузинки», И. К. Айвазовского «Оборона Севастополя», А. М. Васнецова «Пейзаж» и четыре страницы цветных фотографий.

КРОССВОРД



По горизонтали:

6. Строительный материал. 7. Советский композитор. 12. Тайна. 15. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты. 16. Научное сочинение. 17. Основное население одной из союзных республик. 19. Персонаж из «Евгения Онегина». 20. Стихотворение из 14 строк. 21. Круг небесной сферы, проходящий через точку зенита. 22. Почтительное отношение. 23. Стиль в искусстве. 25. Часть текста. 26. Город в Хакасской автономной области. 27. Выдающийся деятель науки, искусства, литературы. 28. Чемпион России по лыжам. 30. Периодический подъем уровня океана, моря. 31. Русский геолог. 34. Краска.

По вертикали:

1. Военная операция. 2. Звезда. 3. Герой повести М. Горького. 4. Кондитерское изделие. 5. Впадина между горами. 8. Рассказ украинского писателя М. Коцюбинского. 9. Инструментовка музыкальной пьесы. 10. Восстановление организмом утраченных частей. 11. Ступень общественного развития и материальной культуры. 13. Город на Волге. 14. Цветок. 18. Мельчайшая частица горящего вещества. 19. Город в Нидерландах. 24. Растение. 29. Пряность. 30. Обсуждение. 32. Самое главное и существенное. 33. Остров в Индийском океане.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ в № 16

По горизонтали:

3. Делегат. 6. Целина. 7. Пленум. 11. Орбита. 12. Якутия. 13. «Семья». 15. Гродно. 16. Сатурн. 17. Агротехника. 22. Трест. 25. Завод. 26. Механизатор. 29. «Спартак». 30. Студент. 31. Керчь. 34. Тракторист. 35. Антарктика. 36. Корреспондент. 39. Индикатор.

По вертикали:

1. Зерно. 2. Масло. 4. Селихова. 5. Кукуруза. 8. Прогресс. 9. Комитет. 10. Пионерка. 13. Сокол. 14. Ясень. 18. Газета. 19. Курорт. 20. Транспорт. 21. Молотилка. 23. Анапест. 24. Узбечка. 27. Практик. 28. Адвокат. 32. Гидрант. 33. Стадион. 37. Скиф. 38. Опал.

В МЕТРО



В кассе брать билеты неинтересно...



Первые шаги...

Рисунки И. Семенова.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

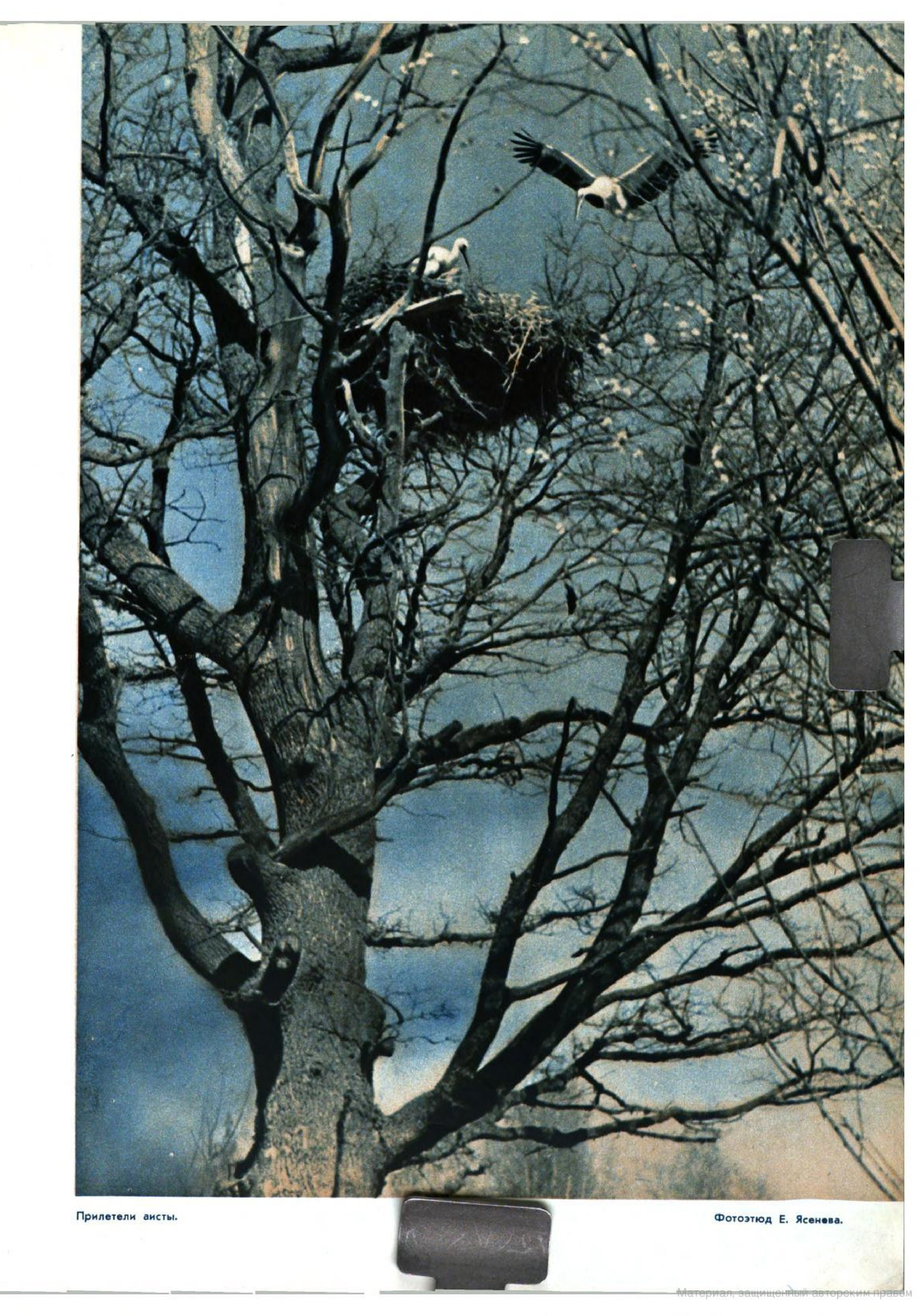
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: В. Ф. БАРЫКИН, А. С. ВАРШАВСКИЙ, В. С. КЛИМАШИН (зам. главного редактора), Е. Н. ЛОГИНОВА, Т. З. СЕМУШКИН, Н. С. ЩЕРБИНОВСКИЙ.

Адрес редакции: Москва, ул. «Правды», 24. Тел. Д 3-38-61.

Оформление И. Уразова.

А 00655. Подп. к печ. 21/IV 1954 г. Формат бум. 70 × 108⅛. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л. Тираж 650 000. Изд. № 338. Заказ 1128. Рукописи не возвращаются.

Типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.



Прилетели аисты.

Фотоэтюд Е. Ясенева.



Цена номера 3 руб.